СЕРГЕЙ ЛИФАРЬ

МОЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ПУШКИНИАНА



ПАРИЖ
1966

СЕРГЕЙ ЛИФАРЬ

МОЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ПУШКИНИАНА

Пушкинские выставки и издания



ПАРИЖ
1966

Обложка работы худ. А. Серебрякова

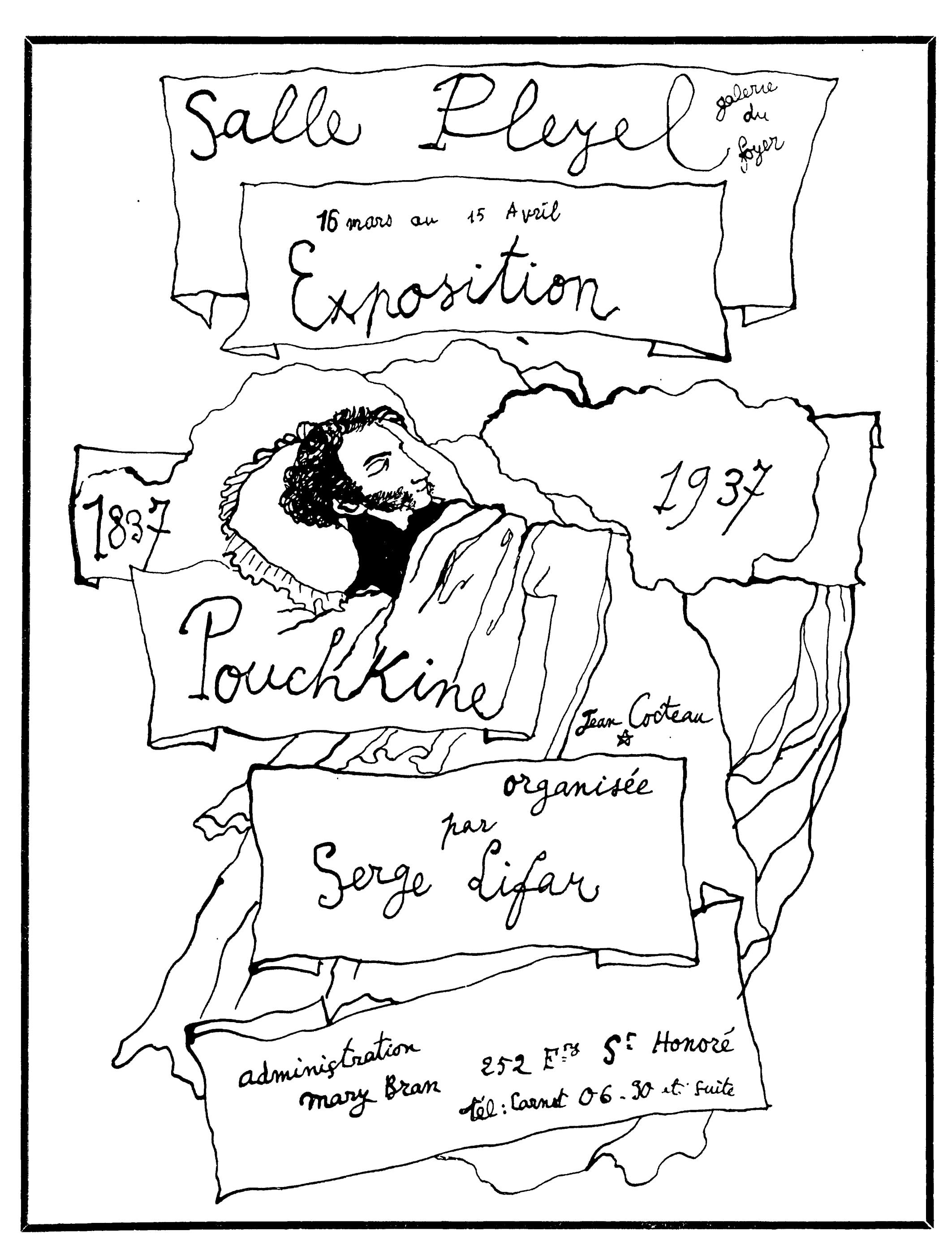
à la Gloire de Pouchkine

SERGE LIFAR



А. С. ПУШКИН

Ю. Анненков



Афиша Пушкинской выставки. Париж, 1937 г.

Jean Cocteau



Пушкин в воображении С. Лифаря

Georges Augsbourg. 1937.



«Медный всадник»

А. Бенуа

Рисунок к 150-летию рождения Пушкина.



А. С. Пушкин

Jean Cocteau

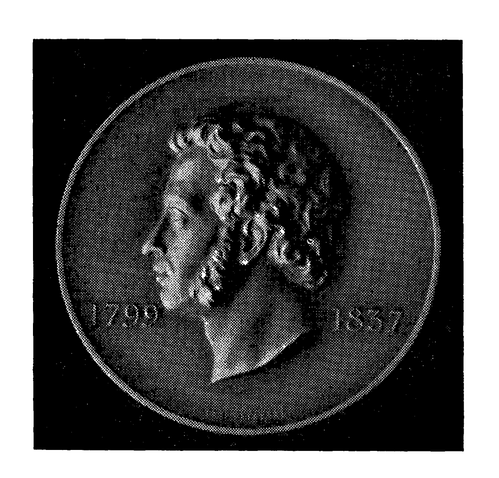
Рисунок к статье "Третий праздник Пушкина".



Пушкин в снах А. Ремизова

А. Ремизов.

Париж, 1949 г.





Юбилейная медаль, выбитая в память Пушкинской Выставки в Париже. 1937 г.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Пушкинские Выставки
и
Пушкинские издания

ВСЕМИРНЫЙ ПУШКИНСКИЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ КОМИТЕТ 1937 ГОДА

За последние 25 лет, среди статей и исследований, посвященных моей хореографической деятельности в качестве тацовщика, хореавтора и хореографа, были и такие, которые отмечали другую область моей деятельности — работу в области «пушкинизма» или пушкиноведения.

В моем увлечении пушкинизмом мною руководило не только благоговение и преклонение перед гением Пушкина. Живя заграницей, я мог констатировать, что здесь, за рубежом, имя Пушкина окружено далеко не тем сияющим ореолом, каким оно окружено у нас на родине и какого оно достойно. Причиной этому является, главным образом, недостаточная осведомленность иностранного общества о подлинном величии Пушкина, вызванная в свою очередь непреодолимой трудностью передать всю силу и все очарование пушкинской поэзии на иностранном языке. Об этом говорил в 1847 году Н. Дюрон в своей книге, изданной в Париже: « Œuvres choisies de A.S. Pouchkine — poète National de la Russie ». Вот почему я направил свою деятельность в области пушкинизма главным образом к тому, чтобы ознакомить западноевропейское общество с творчеством Пушкина.

Такова же была одна из целей Пушкинского Зарубежного Комитета — всемирное прославление имени Пушкина — образовавшегося в Париже в середине тридцатых годов для подготовки и проведения чествования столетия со дня смерти поэта в 1937 году. В Комитет этот, возглавляемый В. А. Маклаковым, вошли крупные русские общественные деятели, ученые и писатели. Мне выпала на долю честь принимать ближайшее участие как в создании этого Комитета, так и во всех его последующих работах. С большим удовлетворением я должен отметить, что эта моя деятельность подвергалась неоднократно самой лестной для меня оценке. Так в апреле 1937 года, в связи с закрытием организованной мною Пушкинской Выставки, Пушкинский Комитет организовал мое чествование, на котором мне был преподнесен адрес следующего содержания:

Дорогой Сергей Михайлович!

Пушкинский Комитет в лице вашем чествует одного из самых молодых членов, и мы горды сознанием, что именно один из младших участников нашего общего Пушкинского дела оказался достойным быть особо отмеченным в эти дни всемирного Пушкинского прославления. В русском зарубежном поминовении Пушкина вам досталась совсем особая роль, подлинно Пушкинская миссия. И с этой, возложенной на вас миссией, вы справились прекрасно и вдохновенно.

Пушкинский Комитет уже имел случай не раз выражать вам свою признательность за ваше ревностное участие во многих его начинаниях. Ибо ни одно из больших Парижских прославлений Пушкина в эти последние годы не прошло без того, чтобы ваше имя не украшало Пушкинские артистические программы. На праздниках Пушкинского искусства неизменно торжествует и ваше вдохновенное искусство, искусство замечательного артиста, творца танца и хореографии. Первый танцовщик и балетмейстер Парижской Оперы, всемирно прославленный и излюбленный всем Парижем, вы, Сергей Михайлович, не забыли своей кровной связи с Россией и с русским народом, и культу величайшего русского гения себя всецело посвятили. В этом Пушкинском служении здесь, вне Русской Земли, перед лицом иностранцев, вы сумели добиться прямо поразительных результатов, побудив многошумный, живущий иными помыслами, Париж заинтересоваться великим творчеством Пушкина среди тревог и забот, обуревающих сейчас мир.

Но ваша заслуга, Сергей Михайлович, не только в этом. Пушкинский комитет не может не отметить и другого вашего бесспорного достижения в области русского Пушкинизма. На вашу долю выпало счастье стать обладателем драгоценных Пушкинских реликвий — писем великого русского поэта, во французских подлинниках, остававшихся неизвестными до того как они перешли к вам, а вы не оставили их под спудом. Приобретя их, и тем, может быть, спасши их от рассеяния и забвения, или безвестности еще на долгий срок, вы сделали их общим достоянием. Вы воспроизвели их в фототипическом обличии подлинников в издании «Письма Пушкина к Н. Н. Гончáровой» подобно тому, как еще до этого ранее общим достоянием стало и Пушкинское предисловие к «Путешествию в Арзрум», найденное вами в Париже. Этим бережением и умелым воспроизведением Пушкинских страниц вы оказали большую, бесспорную услугу Пушкинизму, русской науке, русской культуре. Ваше юбилейное издание «Евгения Онегина» явилось новым подарком русской эмиграции.

И, наконец, ваша Пушкинская Выставка. Несомненно, что выставка «Пушкин и его эпоха» явилась совершенно исключительным и блестящим завершением всемирного прославления Пушкинского гения. Только на нашей родине было бы возможно создание того, что возникло здесь в Париже в эти дни по вашей прекрасной инициативе и с вашей жертвенной готовностью служить культу Пушкина. Вы отважились и сумели преодолеть бесчисленные, не только материального свойства, но и, возникавшие все время, всякого рода препятствия, и без какой-либо поддержки со стороны официальных инстанций открыли свою Пушкинскую Выставку. Своим вдохновенным примером вы сумели заразить и зажечь сердца и некоторых наших замечательных коллекционеров, хранителей русских художественных сокровищ заграницей и просто русских культурных людей. являющихся обладателями той или другой Пушкинской книги или Пушкинской реликвии. В своем стремлении сделать Пушкинскую Выставку достойной Пушкинского имени, вы сумели объединить около себя опытных и преданных Пушкинскому делу сотрудников. Так утвердили вы на некоторое время в самом сердце Парижа настоящий Пушкинский Дом, наш русский Пушкинский музей и смогли тем самым открыть и иностранному миру блистательные страницы русского творчества, русского искусства, русской культуры, осененные гением великого русского поэта.

За это Пушкинский Комитет приветствует вас сегодня, дорогой Сергей Михайлович, и приносит вам благодарность с выражением любви и восхищения вами, одним из творчески вдохновенных своих сочленов. Пушкинский Комитет счастлив, что может сказать все это вам. Он верит и знает, что он не одинок в этом признании ваших заслуг и что эти приветственные слова, обращаемые сейчас к вам, вместе с ним повторит и вся русская колония в Париже, все наше культурное русское Зарубежье.

Подписи: *В. Маклаков, И. Бунин, М. Федоров (и все члены Комитета).*

Приводя здесь этот столь лестный для меня документ, я подчеркиваю, что он дорог мне и что я им горжусь. В таком деле, как служение культу Пушкина, нет и не может быть элемента личного интереса. Но оценка в этом адресе, исходящем от организации, соединившей в себе лучших и крупнейших представителей русской культуры, оценка моей роли как некой «миссии», наполняет меня чувством гордости и вместе с тем дает мне право и даже отчасти обязывает систематизировать и изложить для истории все то, что было сделано — в частности

мною — для этого, упомянутого в адресе «всемирного прославления Пушкина». Вот почему я счел сейчас своевременным собрать и представить читателю плоды моей деятельности в этой области. Я надеюсь, что настоящий очерк понадобится когда-нибудь исследователю, который внесет новую лепту в огромную и неисчерпаемую науку пушкиноведения.

*
**

Мне трудно было бы определить в точности время, когда я стал «пушкинистом». Пушкинистом я был всегда, всю жизнь, с тех пор, когда впервые прочел божественные строки поэта. Совсем юношей, еще до поступления в гимназию, я знал наизусть «Былины», «Кобзаря» Шевченко, стихи Лермонтова, поэтическую прозу Гоголя. Но особенно легко я запоминал, как молитвы, стихи Пушкина. В гимназические годы я погружался в чтение книг, открывавших моему сознанию смысл и значение творчества Пушкина. Не только исследования Белинского, Щеголева, Модзалевского я находил в библиотеке моего отца, но так же и книги П. В. Анненкова — основателя зарождавшейся в середине прошлого столетия науки о Пушкине. Обожание Пушкина сопровождало меня всю жизнь, и когда Дягилев говорил мне о своей любви к Пушкину, его слова падали на благодарную почву.

Был, однако, чисто внешний толчок к моей активной деятельности в качестве собирателя пушкинских реликвий и текстов. В 1929 году умер Дягилев и я стал — при обстоятельствах, о которых скажу несколько ниже — собственником части его бесценных коллекций, в том числе пушкинских манускриптов-уникумов. Здесь необходимо остановиться на этой стороне деятельности Дягилева — его коллекционерстве и, в частности, библиофильстве, — ибо именно она, эта страсть Дягилева к собирательству, послужила отправным пунктом и моего собирательства, давшего мне возможность сделать посильный вклад в науку о Пушкине.

Дягилев был человеком искусства в полном и всеобъемлющем смысле этого слова. Он отдавался служению ему со страстью и широтой. Вся его биография свидетельствует, что он умел любить с юношеским увлечением то картину, то симфонию, то пластическое движение. Но его ненасытная жажда прекрасного никогда не давала ему удовлетворения и это бросало его от одного вида искусства к другому: от живописи к театру, от театра к музыке, от музыки к балету. Кроме того, в Дягилеве сидел «микроб» коллекционерства, самый страшный микроб, ибо он

отравлял весь организм, самый страшный «микроб», ибо он делает «больного», одержимым рабом своей страсти. Так в 1926 году, по какому-то случайному поводу, он вдруг с увлечением начал собирать грамофонные пластинки. Это была временная «грамофонная» болезнь. Но она была предвестницей другой, гораздо более серьезной и упорной болезни, не оставлявшей его до самой смерти. В том же 1926 году ему на глаза попалась «книжечка», которая его заинтересовала и... началась новая полоса жизни, новая страсть, которая стала вытеснять все, которая стала угрожать Дягилевскому Русскому Балету.

Дягилев стал книжным коллекционером. Началась новая жизнь, появились новые друзья, в записной книжке появились адреса книжных магазинов, антикваров, библиофилов, знатоков книг... Книжный бюджет был велик и своей тяжестью обрушился на балет, но, в большинстве случаев, Дягилеву удавалось покупать редчайшие издания дешево.

Должен признать, что собирал книги Дягилев диллетантски — что попадалось под руку. Но и тут сказалось покровительство какой-то Феи прекрасного, всю жизнь покровительствовавшей Дягилеву: «под руку» ему попадались ценнейшие и редчайшие вещи. Так им был куплен полный и прекрасной сохранности «Часослов» русского первопечатника Ивана Федорова (один экземпляр этой книги с большими дефектами, без первых страниц, хранится в качестве книжного уникума в Ленинградской публичной библиотеке). Так же им были куплены «Апостол», два экземпляра сожженного при Екатерине II издания книги Радищева «Путешествия из Петербурга в Москву» и др.

Коллекционерство заставляло его иногда совершать далекие путешествия. Помню, в сентябре 1927 года он был в Риме, куда его привели поиски «книжечек». Вот раз он писал мне из Италии: *В Риме все было удачно... Нашел чудную, потрясающую русскую книгу и еще кое-что.* Книга, действительно, была «потрясающей»: это была первая русская грамматика первопечатника Ивана Федорова. До этой находки Дягилева было известно всего шесть книг русского первопечатника. — Дягилев нашел седьмую, самую интересную, самую важную для русской науки. Она одна уже оправдывала все коллекционерство Дягилева. Судьба этой книги любопытна: через 25 лет после смерти Дягилева, она оказалась в руках бывшего секретаря Дягилева Б. Кохно. С нее была сделана полная постраничная фотографическая копия, находящаяся в настоящее время в Академии Наук в Ленинграде. Что касается подлинника, то он был продан за две тысячи долларов в Америку, где и хранится по сие время в одном из университетов. Книгу эту предлагали в Советское по-

сольство в Париже, но, увы, посольство не заинтересовалось ею и книга находится не в России, а в Америке.

В 1929 году Дягилеву удалось сделать, наконец, то приобретение, которое позже положило начало и моему активному «пушкинианству».

В зимнем сезоне 1928 г. мы давали балетные спектакли в Монте-Карло, и здесь, на Лазурном берегу, на одном из благотворительных спектаклей в Каннах, 30 марта, я познакомился с устроительницей этого спектакля — лэди Торби. Для меня эта светская дама — жена великого князя Михаила Михайловича — была интересна, главным образом, тем, что она была. . . родной внучкой Пушкина. С Дягилевым лэди Торби была исключительно любезна, к тому же, он ее совершенно очаровал. Она рассказала ему, что хранит у себя неоценимое сокровище — письма своего великого деда к ее бабке, тогда его невесте — Наталии Николаевне Гончаровой, от которой к лэди Торби и перешли по наследству эти письма. Лэди Торби прибавила, что после того, как она вышла замуж за великого князя Михаила Михайловича и ему за этот брак было запрещено государем жить в России, она поклялась, что не только она сама, но и принадлежащие ей письма ее деда никогда не увидят России. Слово свое она крепко держала. Еще до русской революции Российская Академия Наук неоднократно командировала своих представителей в Англию — лэди Торби их не принимала. Писал ей и бывший президент Императорской Академии Наук великий князь Константин Константинович, убеждая внучку Пушкина передать России русское достояние. Рассказывая об этом, графиня Торби возмущалась:

— Константин Константинович смел мне писать, что я обязана передать в их Академию мои письма, что они не мои, а их, так как они чтут память великого поэта, который принадлежит не семье, а всей стране. Хорошо же они чтут память великого поэта: за то, что великий князь женился на внучке чтимого ими Пушкина, они выгоняют его из России, как будто он опозорил их своей женитьбой!

И тут же лэди Торби обещала завещать Дягилеву для его коллекции один из этих бесценных автографов.

— Вы будете иметь его скоро, — прибавила она. — Мне не долго осталось жить.

Предчувствие не обмануло ее: она умерла через несколько месяцев после этого разговора, произведшего на Дягилева очень большое впечатление. Он стал буквально бредить этим письмом и поставил себе целью иметь его. В следующем году, уже совсем незадолго до своей смерти, он добился своего.

Дягилеву пришлось проявить много настойчивости и страстности в достижении своей цели. Ему отчасти помогло то, что великий князь Михаил Михайлович, в распоряжении которого остались письма после смерти жены, в то время нуждался, постоянно болел и плохо разбирался в чем бы то ни было.

— Мне мои дочери не помогают и держат меня в черном теле, — говорил он Дягилеву. — Я уступаю вам, Сергей Павлович, все письма Пушкина. Мне не хватает на «красненькое»... Вы только ничего не говорите моим дочерям...

В результате Дягилев приобрел не одно, а все письма, все эти бесценные русские сокровища за 50 тысяч франков.

Дягилев получил эти письма в конце июля 1929 года через Вольхгейма, своего лондонского импресарио. В Париже он положил их в сейф своего Банка и в тот же день выехал в Зальцбург и оттуда в Венецию. Он был полон проектов и уже осенью предполагал приступить к работе по изданию этих писем. Увы, 19 августа в Венеции смерть положила предел и его пламенной жизни, и его замыслам и планам.

Смерть Дягилева поставила сложную проблему о его наследстве. Прямых наследников у него не было. Главным его имуществом была его библиотека и его архив, так же все театральное оперно-балетное имущество — декорации, костюмы, партитуры и пр. Но были и долги и они быстро увеличивались, ибо содержание балетного имущества, его хранение требовало оплаты. Для погашения этих обязательств французскими властями решено было ликвидировать сначала личные вещи Дягилева. Квартира Дягилева в Париже на бульваре Гарибальди, снятая им в 1929 году незадолго до смерти, была опечатана. Борису Кохно, однако, удалось «спасти» для себя из этой квартиры кой-какие ценные экземпляры. Удалось ему также получить кое-что и из сейфа, при помощи расписок на его имя на суммы, получаемые им от Дягилева: Кохно был в то время личным секретарем Дягилева, покупал по его поручению книги, производил платежи и имел доверенность.

Все остальное удалось приобрести мне при любезном и доброжелательном содействии министра Изящных Искусств и Народного образования. В этой, приобретенной мною в 1930 году, дягилевской библиотеке, в его сейфе находились также и письма Пушкина к невесте.

Средства на приобретение дягилевского архива и библиотеки я заработал «ногами»: мои выступления в Лондоне и в Парижской Опере оплачивались весьма крупными суммами. Контракт в Опере мне гарантировал выступления в 60-ти спектаклях в год.

При покупке я сговорился с министром Марио Рустан, что выплачу всю сумму в течение года (1930—1931). При этом было обусловлено, что если я не произведу во-время какого-либо взноса, я теряю все права на имущество, как и на все уже оплаченные суммы.

Целый год я танцевал под страхом: — как бы не заболеть, как бы не вывихнуть ногу. Это был мой второй сезон в Опере, который должен был стать моим «победным» годом в театре. И я его «выдержал». Заработал на Пушкина, работая одновременно и на «славу балета».

Между тем в русской парижской колонии повсюду говорили, что я унаследовал от Дягилева библиотеку и что в ней находятся ценные книги и манускрипты. Распространились также слухи о 12-и неизвестных письмах Пушкина к невесте.

В 1929-м году, наследством Дягилева заинтересовалось и Советское посольство (которое называлось тогда Полпредством). Тотчас же после смерти Дягилева, уже в сентябре месяце, ко мне были командированы эмиссары полпредства, которые сообщили мне, что в Советском Союзе проживает в ссылке в Сибири брат Дягилева бывший начальник Военной Академии, что он уже выехал в Москву и может приехать в Париж для получения наследства. Для подробных переговоров по этому делу мне предложили пожаловать в полпредство, где я должен был вести эти переговоры с одним из советников полпредства. Этим советником оказался не кто иной, как Беседовский, прогремевший на весь мир своим бегством из полпредства на улице Гренелль в Париже. Я действительно имел с ним беседу и должен был прийти для следующей беседы на другой день. Но когда я пришел на другой день и вошел в маленькую дверь, она за мной захлопнулась, а перед собой я увидел сотрудника полпредства, вооруженного револьвером.

— Руки вверх! — скомандовал он мне.

Меня посадили в приемной, где я должен был просидеть под этой «охраной» несколько часов, ничего не понимая. Мне казалось, что это последние минуты моей свободы, а может быть и жизни, я задыхался в этой красной приемной без окна, глядя на портрет Ленина...

Беседовского я так и не дождался.

В конце концов меня выпустили после вежливого допроса. Я вышел из полпредства, как во сне. Здесь, у полпредства, уже стояла большая толпа любопытных, которая встретила меня криками, и только здесь я узнал причину моего сидения в красной приемной под вооруженной охраной: оказалось, что

именно в этот день рано утром Беседовский бежал из полпредства, перепрыгнув через стену в соседний сад, а меня очевидно приняли за его сообщника. Дальние родственники Дягилева Ратьков-Рожновы и его двоюродный брат Павел Корибут-Кубитович — живущие в Париже — не желали иметь дело с представителями Советской России и наотрез отказались от передачи дягилевского имущества в Советскую Россию. Приобретение мною дягилевской библиотеки и его архива, в 1930 году, в котором находились драгоценные пушкинские рукописи, и было тем внешним толчком, который положил начало моему активному «пушкинизму». Мое собрание я начал пополнять. Так, в тридцатых годах, совершенно случайно, мне удалось найти и приобрести у одного книгопродавца на левом берегу Сены, на улице Бонапарта, еще одну драгоценную пушкинскую реликвию — рукопись поэта, его предисловие к «Путешествию в Арзрум». Нашел я еще кое-что и другое. Случай помог мне также приобрести портрет (миниатюру) Пушкина работы Тропинина. Произошло это при таких обстоятельствах: один из бывших дягилевских артистов Миша Федоров решил заняться коммерцией и открыл антикварный магазин на известном парижском «Блошином рынке» (Marché aux puces). Однажды какой-то русский беженец принес ему и продал за малую цену маленький портрет Пушкина. Не зная чьей он работы и зная уже, что я собираю пушкинские реликвии, Миша Федоров принес этот портрет мне. Я бросился к А. Н. Бенуа и показал ему находку. Без колебания А. Н. определил, что эта миниатюра работы Тропинина. Надо ли говорить, что я тотчас же приобрел эту драгоценность. Кн. Аргутинский, Браз, Эрнст мне потвердили определение А. Н. Бенуа.

Здесь же в Париже мне удалось купить портреты родителей Наталии Николаевны, жены Пушкина, работы художника Voilière.

Приобрел я также у баронессы Мейер печать Пушкина, его «пашпорт» (высылка в Бессарабию) и другие личные вещи поэта.

Все эти вещи, манускрипты, портреты фигурировали впоследствии на устроенной мною Пушкинской Выставке.

В моем Пушкинском собрании я имею один из вариантов картины (масло) братьев Чернецовых: «Пушкин в Бахчисарайском дворце», где на первом плане изображен Пушкин (стоит облокотившись о колонну), вдали две восточных мужских фигуры беседуют между собой. Подписи нет. Приобрел я ее в Париже в 1958 году. По описанию *Пушкин. исследования и материалы* (Изд. Академии Наук, Москва—Ленинград, 1956) — это один из вариантов худ. Чернецовых.

Мне удалось также приобрести картину (масло) пушкинской эпохи: «Пушкин на Украине в деревне».

В 1930 г. я занимал пост главного Балетмейстера, хореографа и первого солиста-танцовщика Большой Парижской Оперы, и к этому времени в русских кругах уже знали о моем пушкинианстве.

Именно в это время, в середине тридцатых годов, было положено начало тому, что получило впоследствии название «Пушкинского Комитета», деятельность которого несомненно оставила крупный след в пушкиноведении. В этом Пушкинском Комитете я принимал самое активное участие.

В 1934 году я получил приглашение от П. Н. Милюкова, М. М. Федорова и В. Ф. Зеелера на частное совещание у Милюкова. Эти три видных общественных деятеля сообщили мне, что они решили уже теперь предпринять подготовку организации чествования памяти Пушкина по случаю исполняющейся в 1937 году столетней годовщины со дня его смерти и что в этих целях они являются инициаторами создания Пушкинского Комитета, возглавить который предлагают мне, как носителю знаменитого русского имени наряду с Шаляпиным и Рахманиновым. Сколь ни лестно было такое предложение, я тотчас же его отклонил, указав, что в качестве возглавителя Пушкинского Комитета должно быть избрано другое лицо, более почтенного возраста, соединяющего в себе качества не только пушкиниста, а и общественного, культурного деятеля, как, напр., М. М. Федоров. Я же сам охотно принимал на себя обязательства активного участника в работе Комитета, но оставаясь в тени, будучи в нем « éminence grise », и так я принесу гораздо больше пользы делу всемирного прославления имени нашего великого национального поэта.

Тут же я наметил некоторые мои планы в области этой деятельности. Так, я предложил устроить «Пушкинскую Выставку» и к юбилейному году напечатать на мои личные средства «Письма Пушкина к Гончаровой» и «Путешествие в Арзрум». Мои планы были восторженно одобрены моими собеседниками...

Вскоре после этого неутомимый М. М. Федоров приступил к конкретному осуществлению принятого нами решения образовать Пушкинский Комитет. Замечу попутно, что идея широкой организации чествования памяти нашего национального поэта по случаю столетней годовщины со дня его смерти проникла уже в общественные круги. Спустя несколько месяцев, Русский Национальный Комитет под председательством

А. В. Карташева, в который входил тот же М. М. Федоров, а так же В. Л. Бурцев, кн. П. Долгоруков, М. Киндяков, П. Струве и др., принял постановление (от 21 ноября 1934 года), в котором призывал к организации чествования пушкинской годовщины, к объединению русской эмиграции вокруг имени Пушкина, как символа русской культуры. Центром этой организации должен был стать Париж.

«Пока Париж — говорилось в постановлении Русского Комитета — является мировым центром наибольшего скопления русских квалифицированных интеллектуальных сил, естественно, что общее руководство делом Пушкинского юбилея должен взять на себя особый «Пушкинский Комитет» из наших знаменитых писателей, академиков, ученых пушкинистов, журналистов и других представительных лиц именно в Париже. Повсюду на местах должны составиться местные Пушкинские Комитеты для сотрудничества с центром».

Еще при первом моем свидании с М. М. Федоровым, П. Н. Милюковым, В. Ф. Зеелером я предложил включить в число намеченных членов будущего Пушкинского Комитета М. Л. Гофмана, известного пушкиниста, с которым я познакомился у Дягилева. Позже, мы сблизились с М. Л. Гофманом на почве пушкинизма, и так началось наше сотрудничество, длившееся двадцать лет. Я испытывал к М. Л. Гофману и уважение и доверие и был благодарен ему, когда он согласился редактировать мои издания и литературные труды, посвященные Пушкину.

Когда М. М. Федоров приступил к формированию первого состава Пушкинского Комитета, председательствование в котором согласился взять на себя В. А. Маклаков и в который в качестве товарищей председателя должны были войти П. Н. Милюков, И. А. Бунин и М. М. Федоров, то, к моему удивлению и огорчению, выдвигаемая мною кандидатура М. Л. Гофмана встретила оппозицию со стороны некоторых общественных деятелей и литераторов, оказавших давление на инициаторов и организаторов Комитета. Не хочу останавливаться на подробностях и на мотивах, которые выдвигались противниками этого ученого. Несомненно, в этой оппозиции был и элемент личного соперничества. Так или иначе, после долгих переговоров, имя М. Л. Гофмана было включено в список членов Пушкинского Комитета, как и имена многих других. Коковцев отказался официально войти в Комитет, но всеми силами и советами помогал мне. Комитет был создан. В него вошли представители всех эмигрантских течений. Имя Пушкина объединило всех.

Работа по созданию Пушкинского Комитета была моим дебютом на поприще общественной деятельности. Она была ознаменована моей полной победой...

***

В первые же дни своего существования новый Пушкинский Комитет наметил свои задачи, которые он изложил в специальном сообщении. В нем говорилось:

«В конце февраля 1935 года в Париже образовался Пушкинский Комитет, который поставил себе задачей отметить достойным образом сотую годовщину смерти Пушкина.

Пушкинский комитет возложил на Президиум в составе В. А. Маклакова (председатель), И. А. Бунина, П. Н. Милюкова и М. М. Федорова (товарищи председателя) и Г. Л. Лозинского (генеральный секретарь) функции Организационной Комиссии, уполномочив Президиум привлекать в состав Организационной Комиссии лиц, могущих оказать им содействие».

Деятельность Пушкинского Комитета протекала в чрезвычайно тяжелых условиях русского рассеяния, и тем более велика заслуга Пушкинского Комитета, сумевшего преодолеть многочисленные трудности. Подробности о деятельности Комитета я извлекаю из протокола № 9 заседания Пушкинского Комитета от 14 октября 1937 года.

В протоколе отмечается, что Комитет поставил себе главной задачей обеспечить характер всемирности чествования величайшего, не только русского, но и мирового поэта. Рассеяние русских по всему миру давало этому особую возможность, которую необходимо было осуществить. Это было Пушкинским Комитетом выполнено. И это мировое объединение русской эмиграции, без средств, без помощи «Лиги Наций», без государства, без меценатов, Комитету удалось осуществить.

Должен признаться, в то время за границей были еще русские люди-миллиардеры. Они Пушкина любили, но свои денежки еще больше...

Согласно данным Пушкинского Комитета, Пушкин чествовался в 1937 году, т. е. в год столетия его смерти, во всех пяти частях света: в Европе в 24 государствах и в 170 городах, в Австралии в 4 городах, в Азии в 8 государствах, и 14 городах, в Америке в 6 государствах и 28 городах, в Африке в 3 государствах и в 5 городах, а всего в 42 государствах и в 231 городе. Пушкина чествовали во всем мире не только комитеты, созданные по инициативе Пушкинского Комитета, число кото-

рых достигло 166, но и различные русские и иностранные организации, примером чему может служить организованная в Риге местными силами весной 1937 г. небольшая «Пушкинская Выставка» или Пушкинские издания, вышедшие на русском и других языках. В чествовании приняло участие большинство правительств, академий и университетов. Воистину оправдались вещие слова поэта:

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык:
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий
Тунгус, и друг степей калмык.

Как я отметил, многие чествования были организованы не только Пушкинскими Комитетами, созданными Всемирным Пушкинским Комитетом, находящимся в Париже, но также местными Пушкинскими Комитетами, образовавшимися по инициативе общественно-культурных организаций (русских и иностранных) или частных лиц. Несомненно, эти Комитеты сыграли свою существенную роль пропагандистов идеи чествования памяти великого национального поэта. И в этом отношении роль их была значительна, если принять во внимание большое количество этих местных Пушкинских Комитетов. Постоянные сношения Пушкинского Комитета с его корреспондентами во всем мире, содействовали возникновению — по почину Парижского Пушкинского Комитета — 166 Пушкинских Комитетов, из них 127 в Европе, 4 в Австралии, 9 в Азии, 21 в Америке и 5 в Африке. Под руководством Парижского Пушкинского Комитета они развили энергичную и плодотворную деятельность. Их сношения — и сношения самого Пушкинского Комитета — с местными властями и университетами обеспечили подлинное всемирное чествование Пушкина, первое в истории русской литературы и русской культуры. Интересный след масштаба деятельности Пушкинского Комитета остался в его счетоводстве. На отправку писем Комитета было израсходовано больше 5.500 франков, что соответствовало рассылке более чем пяти тысяч писем во все страны мира.

Помощь Всемирного Пушкинского Комитета местным Пушкинским Комитетам была существенна и разнообразна.

Так, Всемирным Пушкинским Комитетом была выработана программа-тип чествования Пушкина и эта программа была разослана во все местные Комитеты. Она легла в основу всех местных Пушкинских торжеств. По просьбе местных Комитетов им были высланы все необходимые материалы: речи Достоевского, Тургенева, Ключевского, посвященные Пушкину статьи французских писателей — Мериме, Мельхиора-де-Вогюэ, Омана, Жюля Легра и других, переводы Пушкина на французский язык Лиронделя и многих французских писателей и переводчиков, специально написанные к юбилею статьи русских писателей Б. К. Зайцева, А. П. Ладинского и других, партитуры и ноты опер и романсов на пушкинские темы и слова. Композитор Дукельский, по моей просьбе, написал оперу «Барышня Крестьянка», но, к сожалению, поставить ее в театре мне не удалось.

Уже одного этого перечня видов содействия местным Комитетам достаточно, чтобы отдать себе отчет о значении работы, проделанной Пушкинским Комитетом.

Необходимо сказать об издательской деятельности Пушкинского Комитета. В первую очередь, он постановил издать общедоступное по цене и безупречное по тексту полное, однотомное, на библейской бумаге и в переплете, собрание художественных произведений Пушкина и избрал для этой цели Редакционную комиссию под председательством академика И. А. Бунина, в составе М. Л. Гофмана, Н. К. Кульмана, А. В. Тырковой, К. В. Мочульского, В. Ф. Ходасевича и Г. Л. Лозинского. Редакционная комиссия составила план издания и поручила его редактирование М. Л. Гофману.

Приступая к этому изданию, Пушкинский Комитет хотел дать возможность русской эмиграции и в особенности русской молодежи получить образцовое собрание сочинений Пушкина по доступной для них цене. Не имея в своем распоряжении достаточного капитала для издания, комитет вынужден был искать издателя, готового пойти на особые условия. Таковой издатель был найден в лице М. С. Каплана, директора крупного парижского Издательства «Дом Книги».

На издание была объявлена подписка. Лица, подписавшиеся на него до 1 октября 1936 года через Пушкинский Комитет, получили его по цене 12 фр. брошюрованный экземпляр, 15 фр. в холщевой обложке и 20 фр. — в кожаном мягком переплете. С 1 октября по 1 декабря цены повышались до 15, 20 и 25 фр. Кроме того, «Дому Книги» было предоставлено право выпуска издания в числе, превышающем предварительную подписку.

На юбилейное издание подписка была принята на 2.550 экземпляров, в том числе 265 брошюрованных, 1.280 холщевых и 1.005 кожаных. От огромного большинства подписчиков были получены благодарственные письма с выражением полного удовлетворения.

Но если моральный успех издания был велик, то значительно хуже обстояло дело со стороны материальной. Пушкинский Комитет, разумеется, понес на этом издании убыток, достигший почти 20 тысяч франков (19.828 фр.). Этот дефицит был покрыт из прибыли от устроенного мною Пушкинского концерта в большом зале Плейель, превысившей 22 тысячи франков. Таким образом, чисто культурное начинание — Пушкинский концерт, — которое само по себе было уже формой чествования памяти великого поэта, оказалось существенно полезным в деле помощи другому виду чествования Пушкина — изданию его произведений по такой цене, которая делала его доступным для самых широких кругов бедствующей русской эмиграции.

В первоначальный план издания входили примечания его редактора М. Л. Гофмана. Но размер юбилейного издания, первоначально предполагавшегося в 60 листов, был превышен на 10 листов, которые пришлось оплатить дополнительно. Это вызвало необходимость выпустить комментарии М. Л. Гофмана отдельной книгой.

Среди других сторон деятельности Пушкинского Комитета отмечу выпуск им открыток с портретом Пушкина кисти Кипренского, выполненные А. Н. Бенуа и Г. Г. Черкасовым. Всего было отпечатано 7.000 экземпляров, из которых около 6 тысяч было распродано, 1.100 экземпляров разосланы Пушкинским Комитетам и розданы жертвователям.

Чрезвычайно деятельно и энергично Пушкинский Комитет рассылал местным Пушкинским Комитетам и продавал мои пушкинские издания.

Наконец, была еще одна сторона деятельности Пушкинского Комитета, о которой следует упомянуть. Я имею в виду помощь членам семьи Пушкина. Были приняты на стипендию в 1937 году трое правнуков и пра-правнуков Пушкина, учреждена была стипендия имени Пушкина, выданная внуку Л. Н. Толстого, и оказана была денежная поддержка двум внукам Пушкина, живущим за границей, в эмиграции.

Говоря о родственниках Пушкина, не могу не отметить, что деятельность Пушкинского Комитета помогла восстановить истину, искаженную — быть может невольно — в одном из юбилейных изданий.

Парижский журнал «Иллюстрированная Россия» выпустил к годовщине смерти Пушкина специальный Альманах с большим количеством иллюстраций, статей, очерков и проч. Издание это в общем было вполне удовлетворительно, оно быстро разошлось, и издатель Б. А. Гордон выпустил второе издание, еще более расширенное и улучшенное. Но одна статья этого Альманаха, данные для которой были заимствованы неизвестно из каких источников, вызвала негодующий протест со стороны внука Пушкина Николая Александровича. Свой протест он отправил в виде письма в редакцию «Иллюстрированной России», а одновременно написал М. М. Федорову просьбу посодействовать установлению истины.

Письмо Н. А. Пушкина имеет исторический характер и потому я считаю здесь полезным воспроизвести его, хотя бы в выдержках:

«Глубокоуважаемый Михаил Михайлович, — писал Н. А. Пушкин — получив юбилейный № «Иллюстрированной России», я был глубоко возмущен статьей о потомках Пушкина, где какой-то досужий «писатель» навалил кучу нелепых, ложных и неполных сведений. Я понимаю, что не всякий обязан знать генеалогические подробности даже и нашей семьи, но раз редакция поручает это дело какому-нибудь из своих сотрудников, то она должна выбрать сведующее лицо. Я немедленно послал в «Иллюстрированную Россию» опровержение, копию которого при сем прилагаю, но так как я совершенно не уверен, что она мое законное требование исполнит, то очень прошу вас при посредстве Пушкинского Комитета наблюсти за этим делом...»

В своем письме в редакцию «Иллюстрированной России», копия с которого (как и подлинник письма Н. А. Пушкина М. М. Федорову) находится в моем Пушкинском архиве, Н. А. Пушкин*) дает краткую, но точную генеалогическую справку о потомках Пушкина (письмо его датировано 8 февраля 1937 года).

«У моего отца — пишет Н. А. Пушкин — генерала от кавалерии (а не генерал-лейтенанта) Александра Александровича Пушкина детей было не 5, а 13: пять сыновей — Петр, Александр, Григорий, Сергей и Николай и 8 дочерей — София, Наталия, Мария, Ольга, Анна, Надежда, Вера и Елена.

Петр и София умерли в младенчестве, а Сергей застрелился холостым молодым корнетом. Мой старший брат Алек-

*) Н. А. Пушкин умер в Брюсселе в 1964 г.

сандр был женат первым и единственным браком на Ольге Николаевне Решетовой, но детей никогда не имел. Таким образом приписанная ему дочь Елизавета является просто наглой самозванкой...»

«У моего брата Григория — продолжает Н. А. Пушкин — женатого на Юлии Николаевне Бартеневой, был не один, а два сына — Сергей и Григорий. Из них Сергей умер в детстве, а Григорий женат и имеет сына Александра.

Я, Николай Алекандрович Пушкин, женат на дочери профессора естественных наук статского советника А. Н. Петуникова и имею двух детей: сына Александра и дочь Наталию замужем за бароном А. Н. Гревениц. На этом ограничивается потомство А. С. Пушкина по мужской линии, но помимо сего существует весьма многочисленное потомство по женским линиям, как указано в прилагаемой таблице».



Перед тем как перейти к описанию самих юбилейных дней, мне необходимо указать на иностранное участие в Парижском Комитете. Участие было весьма значительным.

В самом начале создания Пушкинского Комитета, в феврале 1935 года, В. А. Маклаков в качестве председателя Комитета разослал некоторым видным представителям французской литературы письма, в которых указывал, что в Комитет под его председательством входит бывший академик Петербургской академии, лауреат Нобелевской премии И. А. Бунин, профессор П. Н. Милюков, бывший министр М. М. Федоров и другие, и излагал вкратце цели и задачи Комитета.

«Наше намерение заключается в том, — писал В. А. Маклаков — чтобы придать особый блеск предстоящему чествованию, привлекая к нему самые авторитетные и выдающиеся круги всего мира, но в особенности Франции. И вот почему Пушкинский Комитет оказал мне честь, возложив на меня ходатайствовать о вашем согласии на то, чтобы ваше имя фигурировало в списке членов нашего Комитета, что он считает знаком высшей благожелательности и залогом успеха его деятельности».

В результате этого приглашения и моей личной просьбы, в список членов Пушкинского Комитета были включены следующие лица:

Академик Абель-Эрман, Луи Бертран, Эдуард Эстоние, Жорж Гойо, Жорж Леконт, Луи Мадлэн, Франсуа Мориак,

Поль Валери, генерал Вейган, сенатор Готро, министр колоний Марпус Мутэ, депутат Эдуард Сулье, директор школы восточных языков Поль Буайе, ректор лионской Академии Андре Лирондель, профессора Жюль Легра, Рауль Лабри, Жюль Натуйе, Эмиль Оман, переводчик Пушкина Анри Монго, журналисты Андре Пьер, Леон Деффу, Жорж де Кордонелль, Пьер Бриссон, Альберт Муссе, Жан Прюд'омм, Бенжамен Вайсетт, Альберт Фламенк, Шарль Буасси, Бургесс, Леон Фаро, Брис-Паррен, Пьер Лазарев, Симон Арбело, Жорж Шарансоль, Жан Делаж, Фор Биге, Робер Бразийак, хранитель музея Оперы Прод'омм.

Так началась организация всемирного чествования памяти Пушкина в связи со столетием со дня его смерти. К этому периоду относится и моя переписка с советским академиком, пушкиноведом Бонч-Бруевичем, знавшем о моей «Пушкиниане» и моем участии в подготовке Пушкинского юбилея за рубежом.

Основным предприятием Комитета по прославлению имени Пушкина явилось предпринятое им и выполненное издание собрания художсственных произведений поэта. Работа по подготовке издания вызвала много страстных споров в Комитете. На этих спорах, как характерной страничке в истории «пушкинских дней» в Париже, стоит вкратце остановиться.

На одном из первых заседаний Комитета, посвященных обсуждению вопроса об издании сочинений Пушкина (17 июня 1935 года), некоторые члены Комитета высказали пожелание получить более точные разъяснения по поводу принципов, которыми руководствовалась редакционная комиссия при определении тех произведений Пушкина, которые предполагалось включить в выпускаемое собрание. За этим пожеланием крылась уже начавшаяся оппозиция принципу, принятому редактором издания М. Л. Гофманом, согласно которому в издание должны были войти только художественные произведения, напечатанные самим Пушкиным, или сохранившиеся в законченной беловой рукописи и приготовленные поэтом для печати. Возражавшие против этого принципа члены Комитета указывали, что согласно этому принципу в издание рискуют не попасть такие произведения, как «Памятник», «Русалка» и другие.

В начавшихся прениях М. Л. Гофман перечислил точно те принципы, которые защищал и будет защищать и которые были одобрены редакционной комиссией. В юбилейное издание Пушкина, согласно этим принципам, должны были войти:

1) Все, что Пушкин напечатал при жизни;
2) Все, что он приготовил для печати, т. е. те произведе-

ния, от которых сохранились чистовые рукописи. Все, что не закончено, не отделано, не может печататься, и тем самым «Русалка», «Дубровский», «История села Горюхина», «Египетские ночи» отпадают. Указывая, что мы не располагаем достоверным текстом, по которому можно было бы печатать эти произведения в таком ответственном сборнике, как юбилейное издание, М. Л. Гофман полагал, что он, как редактор издания, не может согласиться на включение этих произведений в собрание.

Прения по этому вопросу были весьма оживленными и носили подчас страстный характер. В поисках примиряющего решения П. Н. Милюков указывал, что, помимо соображений чисто научного характера, надо считаться с установившимися понятиями и обычаями и в угоду принципам нельзя приносить в жертву произведения, которые вошли прочно в сокровищницу пушкинского наследства. Помню, что со своей стороны я указал, что предпринимаемое издание рассчитано главным образом на молодого читателя, у которого еще не установилось точного, а тем более общепринятого представления о Пушкине, и потому его надо знакомить с Пушкиным подлинным.

На собрании было принято решение разослать список произведений, намеченных редакционной комиссией к включению в издание, членам Комитета для ознакомления и перенести обсуждение вопроса на последующее пленарное заседание Комитета. На этом же заседании председательствовавший М. М. Федоров сообщил, что И. А. Бунин уехал на Юг и сложил с себя звание председателя редакционной комиссии. Пушкинский Комитет единогласно постановил утвердить в качестве председателя редакционной комиссии проф. Н. К. Кульмана.

Окончательное решение по вопросу о содержании собрания сочинений Пушкина было принято через несколько месяцев на заседании Комитета 7 марта 1936 года.

Говоря о Бунине и о его участии в работе Пушкинского Комитета, хочу воспроизвести здесь один документ, хранящийся у меня, — автограф Бунина. Автограф этот хранился в архивах Пушкинского Комитета, который затем был передан мне.

Вот этот автограф Бунина (воспроизвожу его в том виде, как он был написан, т. е. с соблюдением старой орфографии):

Пушкинскія торжества

Страшные дни, страшная годовщина — одно из самыхъ скорбныхъ событій во всей исторіи Россіи, что дала Его. И сама она, — гдѣ она теперь, эта Россія?

Красуйся, градъ Петровъ и стой
Неколебимо, какъ Россія.
— О, если бъ узы гробовыя
хоть на единый мигъ земной
поэтъ и Царь расторгли нынѣ.

Ив. Бунинъ

Непремѣнное условіе — прислать мнѣ корректуру этихъ строкъ.

И. Б.

На заседании — 7 марта 1936 года — выявилось, что редактор издания М. Л. Гофман внес много поправок в первоначальную постановку вопроса и по существу сделал много уступок. Непримиримым он остался лишь в отношении к «Дубровскому» и «Истории села Горюхина», как к произведениям, точного текста которых не существует. Комитет согласился с этим, и произведенным голосованием было признано, что «Дубровский» и «История села Горюхина» не будут включены в юбилейное издание. (По отношению к «Дубровскому» в конце концов было найдено компромиссное решение: повесть была включена в издание в качестве «Дополнения»).

Что касается вопроса о «Египетских ночах» и о «Путешествии в Арзрум», то он откладывался.

Следует заметить, что в момент обсуждения этих вопросов «Путешествие в Арзрум» было уже издано мною. Тут я должен возвратиться несколько назад и сообщить о моих личных изданиях Пушкина, входящих в общую программу прославления имени нашего великого поэта по случаю столетия со дня его смерти.

⁂

Как я уже писал, уже при первом свидании с инициаторами Пушкинского Комитета П. Н. Милюковым, М. М. Федоровым, В. Ф. Зеелером я предложил им, в качестве моего личного участия в организации чествования памяти Пушкина, издать имевшиеся у меня «Письма Пушкина к Н. Н. Гончаровой» и «Путешествие в Арзрум». Немедленно после этого разговора я приступил к осуществлению задуманного.

С этим изданием у меня связано воспоминание, которое оставило глубокий след в моей душе. Я задумал издать сразу как «Путешествие в Арзрум» с пушкинским предисловием (по имевшейся у меня рукописи), так и письма Пушкина к его

невесте. Не говоря уже о том, что я был обладателем неоценимого сокровища в виде рукописей самого поэта. Эти рукописи были — быть может — самым драгоценным перлом во всем его наследии: они были хранителями его сокровенных чувств, они говорили о той, которую поэт любил... Любовные письма Пушкина к его невесте! Что могло быть более прекрасного, более достойного преклонения и восхищения...

К этому изданию я решил предпослать предисловие. Я хотел писать о Пушкине, я хотел излить в этом предисловии все, что чувствовал по отношению к этому гению, я хотел передать свое восхищение перед величайшим русским гением и перед единственным в мире художником, заставляющим дрожать самые сокровенные струны души. Все то, что я чувствовал и переживал, читая Пушкина, я хотел выразить не в предисловии, а в акафисте Пушкину, я хотел, чтобы эти мои вступительные строки были гимном прекрасному, великим выразителем которого был Пушкин. Я должен был писать и о Пушкине и о том, чем был Пушкин для меня, а вместе с тем для миллионов других людей.

Случилось так, что именно в это время я должен был выехать с труппой на гастроли в Южную Америку. Мы отплыли в августе 1934 года на пароходе «Augustus» из средиземного порта Франции Villefranche и я предполагал написать в дороге предисловие к изданию писем.

Восемь дней плавания на пароходе были для меня не прекращающейся мукой творчества. Это путешествие навсегда останется для меня памятным. Мне казалось, что стоит только изложить все, что я думал о его гении, как статья будет готова. Но все слова, которые я записывал на бумагу рядом с именем Пушкина казались мертвыми, фальшивыми, недостаточными... Бесплодно искал я начала, бесплодно подыскивал точные, проникновенные выражения, определяющие все величие Пушкина, бесплодно пытался я найти даже простое изложение того, что такое эти письма, как и когда они были написаны, как и когда я стал их счастливым обладателем. Все было не то. Я понимал, что для издания этих писем этого недостаточно.

Месяц пребывания в Рио — прекрасном Рио — не внес улучшения в мои терзания. Я просиживал целые ночи с гусиным пером в руке в отеле «Глория», вглядывался в грандиозную панораму, великолепную природу перед моим окном, вновь садился за стол, обливаясь холодным потом. Передо мной вставали бессмертные тени великих людей, говоривших в свое время огненные слова о Пушкине, — Лермонтова, Достоевского... Я мог отрывочно вспоминать их слова. Но моя самоуверенность, моя наивная вера в мои собственные силы была так велика, что

я не взял с собою никаких пособий, никакой литературы о Пушкине. И как жестоко я был наказан за эту самоуверенность. Выписать что-либо из Парижа я не мог. Мне было совестно перед Комитетом, перед самим собой.

Моим спасением был театр, моя работа с балетом. Но и там артисты и друзья с волнением следили за переживаемым мною кризисом. Они видели, что я худею, что я сам не свой, и мое состояние было для них загадкой.

Создавая в те дни мой новый балет «Jurupary» на музыку Villa Lobos, я был в нервном состоянии. И когда, в день премьеры, я пришел в театр и узнал, что я прохожу не в намеченном порядке программы, то я отказался выступать. Скандал оказался громадный. В театре присутствовал президент республики Варгас. Меня арестовали... но через полчаса меня пригласили в ложу к президенту... я был непоколебим в своем решении, и президент, выслушав меня, приказал начать спектакль часом позже назначенного времени и дать мне удовлетворение. Моего раздражения никто не понимал. Никто не знал, что я был болен Пушкиным... И впервые я почувствовал, что такое быть бессильным. Мне вспомнились слова Рахманинова, говорившего мне, что его жизнь была погублена исканием одного такта, который мучил его десятки лет, и что его слава музыканта и исполнителя не дала ему никакой радости из-за этого одного аккорда его симфонии.

Так длился этот страшный для меня месяц и вдруг, после спектакля, вернувшись к себе на заре и глядя из открытого окна на восходящее солнце, я почувствовал, что нашел решение. Быстро, не раздумывая, я стал набрасывать на бумагу теснившиеся у меня в мозгу слова, не заботясь о их порядке, не силясь расставлять их в стройные, логические ряды по всем правилам синтаксиса. Все это потом, потом — думал я — сейчас пока записать самое главное, самое нужное. И я записывал, записывал все это, наносил на бумагу свои мысли. Вдохновение меня вдруг осенило и я записал:

В мировой литературе с Библией, великими греками и Евангелием дороги человеку Данте, Шекспир, Гете, Жан-Жак Руссо и Достоевский.

*Через Достоевского западный мир узнал о России, услышал о ней, глубокой, трудной, почти непонятной...**).

Так завершились эти тяжелые мучительные роды. Я поделился моими исканиями с танцовщицей Фирсовской — культурной балетной артисткой моей труппы. Когда я

---

*) Начало текста предисловия я привожу во второй главе этой книги.

рассказал ей все, когда я поведал ей о моих мучениях, о моем желании написать о Пушкине кровью сердца, когда я признался ей в моем бессилии и когда я показал ей то, что вырвалось у меня из души, она разрыдалась счастливыми слезами, радуясь моему освобождению и за то, что на алтарь нашего общего божества Пушкина возложена новая жертва.

По моем возвращении в Париж я приступил к изданию писем.

Но мне предстояло преодолеть еще не мало трудностей. Среди этих забот мне пришлось испытать трудности технические и материальные. С изданием «Путешествия в Арзрум» в материальном отношении дело обстояло лучше — я располагал достаточными средствами. «Путешествие в Арзрум» вышло в 1934 году. Это был мой первый праздник.

Вторым моим праздником было издание «Писем Пушкина к Н. Н. Гончаровой». Издание это вызвало в свое время взрыв энтузиазма. Письма были воспроизведены фототипическим способом настолько точно, что эти страницы трудно было отличить от подлинника. Но если бы знали все восхищавшиеся ими, сколько трудностей пришлось преодолеть на пути к осуществлению этого издания.

Первой и главной трудностью были мои стесненные денежные дела. Как раз в то время, когда я предпринял издание «Писем» (в 1935 г.), я должен был вести два процесса: с Англией за якобы нарушенный контракт в 1933 году и с Прокофьевым за недоплаченную сумму за его музыку к балету «Борисфен», заказанному мною для Парижской Оперы. В поисках необходимых средств для издания писем, я обратился к миллионерше американке Барбаре Хаттон (разведенной в это время с Мдивани), обещая ей, если она этого пожелает, посвятить ей издание. Но что для нее было имя Пушкина! Она мне в поддержке отказала. Просил я и у некоторых других состоятельных людей. Увы, повсюду получал отказ. И все же письма вышли, вышли чудом, но вышли.

Я кое-как поправил свои дела, поправил снова своими «ногами», своей артистической репутацией, своим трудом, выступая не только в Парижской Опере, но и в концертах и турне. Здоровье и ноги не подвели. Я рисковал, играя азартно, — по Достоевскому — играл с Судьбой... И мне везло. Я выигрывал.

«Письма» вышли в свет. Посвятил я их

Прекрасной и свободной Франции
— труд о Русском Гении

Через советское посольство в Париже, мне была передана просьба Пушкинского Дома в СССР напечатать кроме роскошного издания еще простое, с тем, что оно будет приобретено ими для СССР. Но, по выходе «Писем», получив свои именные экземпляры, советское посольство отказалось от простых, оставив их валяться по подвалам, и впоследствии богибших.

После праздника издания «Писем» были другие праздники. Праздником для меня был выпуск в 1937 г. юбилейного издания «Евгения Онегина» с моей статьей: Герои «Евгения Онегина», в которой я высказывал мое понимание Пушкинских персонажей этого замечательного поэтического произведения — романа в стихах. Затем, опубликование двух неизвестных строф шестой главы «Евгения Онегина» с фототипическим воспроизведением и комментариями проф. М. Л. Гофмана, начальные строки которых я привожу ниже.

Новый автограф Пушкина. Париж, 1937 г.

Пушкинский юбилейный год обрадовал нас неожиданной новинкой: перед самым закрытием парижской выставки «Пушкин и его эпоха» С. М. Лифаря было получено известие, что в Выборге, у госпожи О. Купрович, находится неизвестный до сих пор автограф Пушкина — двух строф шестой главы «Евгения Онегина». Сам автограф пришел в Париж уже после закрытия выставки, кроме двух человек, его никто не видел.

Трудно переоценить эту драгоценную находку — подобные находки вообще большая редкость, всегда неожиданная радость, всегда неожиданный, незаслуженный праздник. Мы дорожим каждым клочком бумаги, на котором Пушкин написал несколько слов, его автографом-реликвией. Но в данном случае значение нового автографа выходит далеко за пределы реликвии: помимо того, что он устанавливает единственное верное чтение *XXXVI строфы шестой главы, такого значительнейшего произведения, как «Евгений Онегин»; помимо того, что он дает несколько новых стихов — вариантов к XXXVI и XXXVII строфам шестой главы и говорит о творческих колебаниях Пушкина, о его творческом процессе, этот автограф расширяет наши весьма скудные знания о том, как создавалась шестая глава «Евгения Онегина»...*

К юбилейным изданиям надо отнести «Пушкин — Дон-Жуан» (М. Л. Гофмана), «Египетские ночи», мою брошюру «Третий праздник Пушкина», а так же статьи во французских газетах и журналах.

В тот же ряд моих пушкинских изданий должен быть поставлен «Каталог Пушкинской выставки». Но эта книга тесно связана с другим видом моей «пушкинской деятельности» — организацией Пушкинской Выставки.

Все вышеупомянутые издания были предназначены, главным образом, для русского читателя и могли заинтересовать лишь ограниченный круг знатоков русского языка и русской литературы среди иностранных читателей. Между тем, как я уже говорил выше, моей целью было желание как можно шире познакомить иностранного читателя с творчеством нашего национального поэта и посильно содействовать всемирному прославлению его имени. В этом направлении предстояло сделать очень многое. Пушкина за границей знали очень мало. В дальнейшем я расскажу один эпизод, который является ярким свидетельством того, в какой степени даже самые культурные люди Франции порой находятся в полном неведении о Пушкине и о его значении в русской, а вместе с ней и в мировой литературе и культуре.

Я решил познакомить с Пушкиным не только литературную элиту Франции, но и рядового француза, рассказать ему о Пушкине, объяснить, почему мы отмечаем столетие со дня его смерти с такой торжественностью, почему этот трагический юбилей, будучи по существу траурной датой, является все же нашим великим культурным праздником, ибо мы чтим память гениального поэта, своим творчеством обогатившего русскую культуру, создавшего целую эпоху в ее развитии.

Для подобного обращения к широкой публике лучшим путем была, разумеется, периодическая печать. В те дни я поместил статьи о Пушкине во множестве парижских газет. Мои статьи были напечатаны в « Paris-Soir », « Matin », « Figaro » и др. — называю только самые крупные и распространенные из них. Многие статьи сопровождались репродукциями портретов Пушкина из моей коллекции и других иллюстраций.

Я знал лично многих директоров газет, и они все охотно шли мне навстречу, веря мне, веря в мою задачу, веря через меня в Пушкина.

***

Пушкинская выставка, по всеобщим отзывам, явилась едва ли не самым значительным моментом в чествовании памяти нашего великого поэта. Она вызвала восторженное удивление у парижской критики не только богатством содержания, но и тем новым миром, миром русской культуры пушкинской эпохи, ко-

торый она вскрывала перед западным зрителем. На пути к организации этой выставки мне пришлось преодолеть не меньше, если не больше трудностей, чем при издании книг.

Первой моей мыслью было организовать эту выставку в Национальной Библиотеке. Я был хорошо знаком с директором библиотеки Жюльен Кэн и обратился к нему с просьбой предоставить мне для выставки помещение. Это было в феврале 1936 года.

Жюльен Кэн и его супруга провели дружески вечер со мной в отеле «Вуйемон», где у меня была квартира, и пришли в восторг от моих литературных сокровищ. Кроме манускриптов они могли увидеть многочисленные книги, в частности все первые издания Пушкина, все первые издания альманахов эпохи, редкие издания писателей пушкинской эпохи. Мадам Кэн, владеющая русским языком, могла особенно оценить мои сокровища. Но я мог показать им и нечто другое, не являющееся моим личным собранием. Дело в том, что я уже начал к тому времени подбор экспонатов для будущей выставки и у себя на квартире открыл прием всего, что могло относиться к пушкинской эпохе. Из эмигрантских квартир ко мне сносились самые разнообразные предметы, вплоть до старинной мебели, вывезенной в свое время знатными людьми за границу, не говоря о картинах и гравюрах. У меня имелись уже и несколько образцов драгоценного фарфора из коллекции Поповых. Все это привело в восторог моих гостей. Я уже предвкушал радость получения согласия от Ж. Кэн на устройство выставки в Национальной Библиотеке.

Радость моя была тем более велика, что как раз в эту эпоху, в 1935 г. я пережил ряд неприятностей и волнений. Тут были и осложнения с советской балериной Семеновой, и натянутые отношения с посольством СССР, и скандал в Большой Опере на гала в присутствии Президента Республики Лебрена, и волнения в связи с постановкой «Икара», и с появлением моего «Манифеста хореографа», вызвавшего оживленную полемику в прессе и театральных кругах, а также скандал в Варшавской Опере, куда я был приглашен Пилсудским и польским композитором Шимановским.

Назначенный министром Народного Просвещения в комитет по подготовке художественной балетной программы на Всемирной Парижской выставке 1937 года, я, по настоянию французского хореографа Стаца, был исключен из числа членов этого комитета — как иностранец. И мой проект создать «Жанну д'Арк» по Клоделю на музыку композитора Оннегера отпал. Идею мою использовала Ида Рубинштейн. Узнав через

Руше о моем проекте, она заказала Клоделю и Оннегеру «Жанна на костре» для себя... Оннегер уже был моим сотрудником в создании «Икара» в Опере, но ему Ида Рубинштейн запретила подписать свое произведение.

«Жанна на костре» — одно из самых глубоких произведений этого крупнейшего музыканта нашего времени, занявшего руководящее место в музыкальном мире — мне удалось поставить на сцене Оперы в 1950 году, но не в форме балета, а спектакля оратории.

Вот почему в этой атмосфере оппозиции я был особенно счастлив увлечь Францию принять участие в нашем национальном торжестве чествования Пушкина. Я уже видел и чувствовал, что Ж. Кэн был готов душой и сердцем помочь мне. Но, увы, этому не суждено было сбыться...

За месяц до открытия выставки моя квартира наполнилась экспонатами, поступавшими отовсюду, благодаря моему призыву к русской эмиграции — через русскую парижскую прессу.

В самом начале 1937 года я получил приглашение от министра народного просвещения быть у него на улице Гренелль. Министром тогда был Жан Зей. Он был очень ко мне расположен, несмотря на то, что в этот момент у власти находились левые партии Франции, и нами, русскими эмигрантами, это чувствовалось. С тяжелым чувством я вошел в кабинет к министру: ничего доброго этот вызов мне не обещал. Я не ошибся.

— Лифарь, — сказал мне министр, поздоровавшись, — вы знаете, как я к вам отношусь. Вы уже один раз потеряли ваш Почетный Легион из-за скандала на гала в присутствии Лебрена, но я постараюсь его для вас добиться — теперь вы можете на меня рассчитывать. Я знаю о ваших планах устройства пушкинской выставки в Национальной Библиотеке. У вас есть ценнейшие вещи — Жюльен Кэн мне обо всем этом рассказывал и я согласен вам помочь. После выставки я буду рад лично приколоть вам орден. Но... как и все мы, вы должны считаться с политическими обстоятельствами. И у меня есть к вам одна просьба.

Я сразу понял, к чему он клонит. И в свою очередь задал ему вопрос:

— Господин министр, не хотите ли вы сказать, что советский посол, г-н Потемкин...

— Ах, как я рад, что вы сами догадались! Именно об этом я хотел вас известить и просить вас позволить ему возглавить Вашу выставку...

— Господин министр, это абсолютно невозможно.

— Ну что же, тогда не будет выставки...

— Нет, она будет, господин министр.

— Господин Лифарь, я повторяю вам, Потемкин не может допустить, чтобы без них могли происходить какие-либо официальные чествования Пушкина. Их национального поэта.

— Но они могут их устраивать сами. Ведь все сокровища у них — на родине. А здесь, я не могу предать честных русских людей, эмигрантов, спасшихся от смерти, — увезших кое-какие предметы их прошлого, которые они мне здесь в Париже доверяют.

— Тогда не будет предметов...

— Нет, они будут, — вскипел я, выпалил кое-какие прощальные слова и направился к двери.

Министр был взбешен.

— Лифарь, — закричал он мне в догонку, — приготовьте ваш паспорт!

— Господин министр, — ответил я ему — не только паспорт у меня готов, но и мои чемоданы.

И я вышел.

О нашем столкновении стало известно в парижских редакциях, на страницах газет появились намеки на какой-то инцидент. И в конце концов, при участии Ж. Руше он был ликвидирован. Но, увы, Национальная Библиотека для выставки была потеряна, Ж. Кэн с горечью принужден был мне отказать. Моя грудь тоже потеряла красную ленточку Почетного Легиона...

Два года спустя, весной 1939 г., я снова встретился с министром Жан Зей — он открывал в Париже в Луврском Музее организованную мной выставку «Русский Балет Дягилева».

Я не сдавался. Я решил устроить Выставку в частной галерее. Начались переговоры. Всюду меня встречали с распростертыми объятиями, всюду давали согласие, но, когда я предусмотрительно рассказывал о моем разговоре с министром и о его требовании «принять председательство» советского посла, отовсюду на другой день я получал отказ.

И все же нашелся выход. Я снял помещение — большой холл — в зале Плейель на месяц, не уточняя, какая это будет выставка. Я внес плату вперед, подписал контракт и немедленно принялся за оборудование выставки. Нельзя было терять ни одной минуты, и я обратился, через печать, с призывом к широкой русской зарубежной общественности, чтобы осведомить ее и еще раз призвать всех обладателей Пушкинских реликвий к участию в пополнении уже созданного мной выставочного фонда экспонатов.

Приводимый ниже текст этого обращения появился сперва в большой русской парижской газете «Возрождение», 6 марта 1937 г.:

ПУШКИНСКАЯ ВЫСТАВКА СОСТОИТСЯ

На пути к осуществлению выставки было много препятствий, которые, наконец, устранены, и дата открытия выставки окончательно установлена — 16 марта, в большом фойе зала Плейель.

Мне удалось собрать множество экспонатов исключительного значения и интереса, и уже теперь можно говорить, что наша скромная выставка будет достойным имени Пушкина чествованием его памяти.

От русских людей, находящихся в заграничном рассеянии, зависит, чтобы эта выставка была бы еще более значительной манифестацией русской культуры за границей, и поэтому я обращаюсь с горячим призывом ко всем без исключения русским людям, владеющим какими-либо реликвиями, касающимися Пушкина и его эпохи, поспешить с доставкой их сведений о них по адресу администрации выставки.

Прошу все русские периодические издания перепечатать настоящее обращение и, в частности, помочь также в собирании юбилейной Пушкинской литературы, появившейся в разных странах за последнее время.

Сергей Лифарь.

Одновременно я обратился через французскую печать к французскому общественному мнению с разъяснением значения организовываемой мною юбилейной Пушкинской Выставки в Париже. Полный текст этого обращения (с переводом) приводится ниже.

L'EXPOSITION POUCHKINE

L'être humain porte profondément en soi un sentiment mystique et subconscient. Quiconque ne possède pas d'intimes vibrations est un être pauvre, infécond et demeure fermé aux Mystères de la Vie et de l'Univers. La Religion est une extériorisation formelle de cet instinct suprême. Chacun de nous a son dieu, ses idoles et c'est la raison pour laquelle ils sont si nombreux. Autour de Dieu — seul et invisible — l'homme dresse tout un Panthéon de divinités. Eschyle a dit :

— Les dieux sont les sourires de la Divinité ; les hommes sont ses larmes.

Nul n'a créé tant de dieux que les Grecs, sages entre les sages. Le plus beau, le plus clair, le plus lumineux de l'Olympe est Apollon, chef des Muses éthérées, Musagète protecteur des Arts.

La Russie a son Dieu, son Apollon : Pouchkine qui, plus inspiré que tout autre a su enflammer le cœur du peuple. Je vénère Pouchkine, animateur de ma vie. Sa sagacité m'enrichit, apporte lumière et bonheur dans mes créations, immatérialise mon effort. Les générations passionnées de Pouchkine deviennent de plus en plus nombreuses et notre joie est grande de voir que notre foi a gagné l'Univers. Grâce à Pouchkine, les Russes ont leur Parnasse.

Les objets ayant appartenu au poète sont imprégnés d'esprit qu'ils nous communiquent, prenant ainsi figure de symboles et nous enrichissent de tout un passé, d'espérances et de larmes, de combats et d'extase. En voyant les pistolets que Pouchkine et son adversaire braquèrent l'un sur l'autre, n'est-on pas saisi d'émotion comme devant le fauteuil où Molière expira ? Il y a cent ans, le 9 février 1837, était tué dans un funeste duel notre génie national.

Notre but, en réunissant pieusement les manuscrits et les objets familiers de Pouchkine, est de recréer pour le visiteur l'ambiance dans laquelle vécut le poète.

Serge LIFAR.

L'Exposition sera ouverte tous les jours, du 16 mars au 15 avril, de 14 h. à 23 h., au Foyer de la Salle Pleyel.

Des conférences seront données quatre fois par semaine par les plus grands écrivains français et russes, perpétuant le culte de Pouchkine.

ПУШКИНСКАЯ ВЫСТАВКА

Человек в глубине своей души несет мистическое и подсознательное чувство. Кто не обладает задушевным трепетом, тот является существом бесплодным и остается закрытым для Тайн Жизни и Вселенной. Религия есть внешнее проявление этого высшего инстинкта. Каждый из нас имеет своего бога, свои кумиры, и потому они так многочисленны. Вокруг Бога — единого и невидимого — человек воздвигает целый Пантеон божеств. Эсхил сказал: «Боги — это улыбки Божества: люди — его слезы.

Никто не создал столько богов, как греки, мудрецы среди мудрых. Самый красивый, самый светлый, самый яркий на Олимпе — Аполлон-Музагет, глава зефирных муз, покровитель Искусств.

Россия имеет своего бога, своего Аполлона: Пушкин, наиболее вдохновенный из всех, сумел зажечь сердце народа. Я

почитаю Пушкина — вдохновителя моей жизни. Его мудрость меня обогащает, приносит свет и счастье моим созданиям, одухотворяет мой порыв. Поколения, страстно увлеченные Пушкиным, становятся все более многочисленными, и мы испытываем великую радость потому, что наша вера победила мир. Благодаря Пушкину, русские имеют свой Парнас.

Принадлежащие поэту предметы проникнуты духом, который они нам передают, принимая символическое выражение, и обогащают нас целым прошлым, с надеждами и слезами, борьбой и восторгом. Видя пистолеты, которыми целились друг в друга Пушкин и его противник, не проникаемся ли мы волнением, как перед креслом Мольера, в котором он умер. Сто лет тому назад, 9 февраля 1837 года, был убит в роковой дуэли наш национальный гений.

Нашей целью является — благоговейно собрав манускрипты и личные вещи Пушкина, воссоздать для посетителя окружающую обстановку, в какой жил поэт.

Сергей Лифарь.

Выставка будет открыта каждый день от 16 марта до 15 апреля, с 14 до 23 часов, в Фойе Зала Плейель.

Четыре раза в неделю будут даны конференции наиболее выдающимися французскими и русскими писателями, увековечивая культ Пушкина.

Были разосланы приглашения дипломатическому корпусу. Французский поэт Жан Кокто дружески откликнулся на мой призыв и мгновенно набросал эскиз афиши для Выставки.

Служение Пушкинскому идеалу объединило русских людей в дружный коллектив по художественному и техническому оформлению Выставки.

Вот имена главных участников: А. Н. Бенуа, пушкинист М. Л. Гофман, проф. Н. Кульман, кн. Аргутинский, кн. Никита Трубецкой, худ. Ю. П. Анненков (внук основателя Пушкиноведения П. В. Анненкова), худ. Дмитрий Бушэн, худ. Андрей Бакст (сын худ. Льва Бакста), кн. Сергей Волконский, Д. Давыдов, худ. Н. Гончарова (внучка жены Пушкина Н. Н. Гончаровой), худ. Константин Коровин, гр. В. Н. Коковцев, Л. И. Львов, худ. М. Ларионов, Г. Л. Лозинский, С. К. Маковский, Н. Н. Флиге, Николай и Александр Черепнины, худ. Зинаида Серебрякова, худ. А. Серебряков, А. К. Семенченков, А. А. Попов, Н. Н. Туроверов, В. Ф. Ходасевич, А. А. Шик, С. Л. Эрнст.

Вспоминаю А. Н. Бенуа и кн. Никиту Трубецкого, проработавших со мной безвыходно круглые сутки, одевая залы Выставки в романтические «одежды» эпохи Пушкина и размещая экспонаты.

Нельзя забыть участие многочисленных скромных русских коллекционеров, бескорыстно потрудившихся на общее дело.

Моими ближайшими помощниками, полными юношеского порыва и энтузиазма, были: мой брат Леонид и сын проф. М. Л. Гофмана, Ростислав. Мари Бран самоотверженно служила «русскому делу» и хорошо справлялась с трудной ролью администраторши.

Лишь за 24 часа до открытия Выставки, повсюду в Париже появились афиши Жана Кокто. С биением сердца я ждал момента открытия. Боялся, что что-нибудь помешает и ее запретят. Но вот она открылась... Начался новый, самый большой праздник Пушкина за рубежом. Я едва сдерживал слезы, слезы счастья от сознания, что в этом празднике есть доля моего творчества, моей жертвы, моего труда и воли...

***

16 марта 1937 г. состоялось торжественное открытие Выставки. У входа, на лестнице и в фойе шпалерами выстроилась Национальная гвардия в парадной форме. На открытии присутствовали министры, дипломаты, академики, художники, литераторы, музыканты, журналисты и представители высшего общества, что мы называем «весь Париж». Был, конечно, здесь также и весь «русский Париж». Приехал митрополит Евлогий с духовенством. Особенно меня порадовало присутствие созвездия наших русских балерин. В этой атмосфере русско-французской дружбы встретились молодые звезды академического балета Большой Национальной Парижской Оперы, с А. М. Балашовой, Л. Н. Егоровой, М. Ф. Кшесинской, В. А. Трефиловой, О. О. Преображенской, В. Немчиновой. Ожидался приезд Президента Республики Лебрена, но этому помешала неспокойная политическая обстановка дня и ожидаемые уличные демонстрации. Президент не покидал в этот день свою резиденцию — Елисейский дворец; он протелефонировал мне на Пушкинскую Выставку в момент наибольшего наплыва приглашенных. Мне было радостно услышать его бодрящие слова, относящиеся не только ко мне лично, но и к русским эмигрантам во Франции, — все это придавало мне еще больше сил и энтузиазма.

Посетил он Выставку несколькими днями позже в сопровождении директора протокола Елисейского дворца Фукьера и

академика поэта Поля Валери. Об их визите мне сообщили в Оперу и пришлось отменить репетиции балета и ехать на Выставку, чтобы принять почетных посетителей.

Побывали на Выставке: М. Алданов, Н. А. Бердяев, Н. Н. Евреинов, З. Н. Гиппиус, А. Вертинский, А. Керенский, Д. С. Мережковский, Александр Мозжухин, Иван Мозжухин, Б. К. Зайцев, А. Плещеев, И. С. Шмелев, М. М. Фокин, Е. Н. Рощина-Инсарова, А. М. Ремизов, гр. Мусина-Пушкина, Н. Оцуп, Н. А. Тэффи, В. Ф. Ходасевич, М. Цветаева и многие, многие другие, имена которых украшают «золотую книгу» Пушкинской Выставки.

На выставке можно было повидаться и побеседовать с потомками Дантеса, Керн, Дениса Давыдова, Плетнева, Пущина, Дельвига, Щербинина, Воронцова.

Посетил Выставку герцог и герцогиня Кентские, вел. кн. Андрей, вел. кн. Гавриил, кн. Голицына, барон Ротшильд, принцесса де Полиньак, кн. Ф. Юсупов, кн. Церетелли с М. Н. Кузнецовой-Маснэ — оба так плодотворно послуживших русскому оперному искусству и театру за границей.

16 апреля посетил Выставку Ф. И. Шаляпин в сопровождении своего импресарио Кашука.

Встретил великого певца земли русской А. К. Семенченков, активный участник Выставки и большой знаток книг и гравюр.

Перед каждой витриной, картиной, автографом Пушкина или реликвией, связанной с Пушкиным, Шаляпин останавливался, всматривался, восхищался. Он был в прекрасном расположении духа, много смеялся, шутил и его настроение передавалось окружавшей и следовавшей за ним толпе посетителей Выставки.

Когда Шаляпин остановился перед витриной, наполненной редчайшим русским фарфором из коллекции Квиль-Тищенко, А. К. Семенченков спросил:

— Федор Иванович, не собираете ли вы русский фарфор?

— Что вы! Нет, не собираю. Боюсь, что в гневе все перебью. Вы знаете, у меня характер буйный.

Покидая Выставку, Шаляпин подарил своему гиду Семенченкову каталог с надписью.

Второе посещение Шаляпиным Выставки было непродолжительным, так как он собирался на репетицию подготовляемого им концерта с хором Афонского в зале Плейель. На этот раз Шаляпина сопровождала Мари Бран и Р. М. Гофман. Я. Н. Горбов, впоследствии известный русский журналист и публи-

цист, рассказывал о том глубоком впечатлении, какое произвел Шаляпин, когда он вполголоса напел мелодию на слова Пушкина. Едва уловимое «пианиссимо» акафиста Пушкину все присутствовавшие слушали с напряженным вниманием.

После закрытия Выставки, в апреле, Шаляпин меня порадовал своим неожиданным визитом в Оперу. Днем, когда я работал с дирижером Филиппом Гобером в моей артистической уборной над партитурой моего балета «Александр Великий», вдруг в распахнутой двери увидел фигуру и сверкающую улыбкой маску Шаляпина. Горячо поздоровавшись, я сразу пригласил его спуститься в кабинет директора театра Ж. Руше; но Шаляпин отклонил мое приглашение и сказал, что заехал сюда только для того, чтобы видеть меня и поблагодарить за Пушкинскую Выставку.

Расставаясь, он по-отцовски еще раз обнял меня. Я проводил его до ворот, где ожидала машина. Нас окружили тесным кольцом оперные и балетные артисты. Я был взволнован. В этом визите было что-то прощальное.



Организованная мною выставка носила название «Пушкин и его эпоха» и по своему содержанию вполне оправдывала свое название. Не случайно я расширил рамки этой выставки, не ограничился экспонатами, имеющими отношение исключительно к Пушкину. Пушкин для нас, русских, не только величайший поэт, он является основоположником современного русского литературного языка, он был создателем целой Пушкинской эпохи. Литература первой половины XIX века именуется в историко-литературных исследованиях «пушкинским периодом русской литературы», а все современники Пушкина причисляются к «пушкинской плеяде» литераторов. Пушкинская эпоха не является для нас простым хронологическим понятием, она определяет некий период расцвета русской культуры под мощным воздействием пушкинского гения.

«Моя выставка — писал я в предисловии к ее каталогу — посвящена именно этой «эпохе Пушкина», представленной в виде оригинальных произведений больших художников того времени — Боровиковского, Кипренского, Брюллова, Соколова, Орловского, Толстого, Федотова, Венецианова, Бруни и др., в виде великолепного фарфора, столового серебра, мебели карельской березы, ковров, шалей и пр.» Подобное богатство расширило рамки выставки и делало из нее грандиозную манифестацию русского искусства начала XIX века. Собирая экспонаты выставки, я обратился с просьбой предоставить мне их к славянской библиотеке в Париже, к польской библиотеке имени

Мицкевича, к русской Тургеневской библиотеке, а так же к многочисленным русским и иностранным коллекционерам. На мой призыв их откликнулось более 100, предоставивших мне подчас драгоценнейшие экземпляры документов, рисунков, рукописей, первых изданий Пушкина и современных ему альманахов.

Делая выбор экспонатов (я физически не мог вместить на выставке всего собравшегося у меня материала), я исходил из того принципа, что подлинный портрет какого-либо неизвестного лица, не имевшего даже отношения к Пушкину, но принадлежащий кисти великого мастера эпохи, имеет большую ценность, чем сомнительный портрет какого-либо знакомого Пушкину лица или воспетой им в стихах женщины. Я отбрасывал без колебания многие литографии, чтобы освободить место для картин, носящих подпись Брюллова или Кипренского. Отмечу кстати один из экспонатов, считавшийся украшением выставки: большой портрет графини Самойловой с ее негритенком, работы Брюллова. Он занимал целую стену в одном конце выставочного зала и у подножья его на специальной эстраде был создан ансамбль мебели эпохи.

Эпоха Пушкина, воссоздание атмосферы, в которой он жил и творил, составляло содержание первой части выставки. Она создавала как бы фон для основной части выставки, посвященной самому Пушкину. Здесь было сделано все, что можно было сделать вдали от родины, вдали от наших русских музеев и архивов...

Игралась «пушкинская» музыка — Глинка, Чайковский, Мусоргский, Стравинский... читались лекции на Пушкинские темы проф. М. Л. Гофманом, А. Ремизовым, проф. Н. Кульманом, худ. М. Добужинским, Ю. Л. Сазоновой. Читался Пушкин... Передача звуковой записи, для создания музыкального фона Выставки в часы открытия, была для Парижа новшеством.

В общих чертах Выставка распадалась на шесть отделов:

1) Пушкин;
2) Его родители, русские и иностранные учителя, современные ему писатели, друзья и враги;
3) Пушкинская эпоха;
4) Издания на иностранных языках;
5) Пушкин и русское искусство после него;
6) Издания, вышедшие по случаю столетней годовщины в Париже, заграницей и в Советском Союзе.

Перечисляю несколько экспонатов Выставки. Среди художественных произведений отмечу миниатюры портретов самого

Пушкина работы Тропинина и его родителей работы Вуальер (о приобретении которых я уже писал), акварельный портрет Идалии Полетики работы П. Соколова, портрет Жуковского на диване за чтением работы Е. Рейтерна, портрет Наталии Пушкиной-Ланской работы Гау, другой портрет Жуковского работы Е. Рейтерна, рисунки самого Пушкина, замечательный портрет Мицкевича работы Олецкевича, наконец два портрета Зинаиды Волконской, один рисунок работы Даксе, а другой масляными красками работы Бруни.

Отмечу интересный экспонат, — Альбом рисунков декабристов В. Л. Давыдова и Поджиа. Этот единственный, в своем роде, альбом с тщательно выполненными рисунками, носящий название «Сибирского альбома», дает нам наглядное представление об обстановке и условиях, в которых жили и работали сосланные в Сибирь декабристы. Альбом, вошедший в иллюстрированный каталог Пушкинской Выставки, принадлежал потомку декабриста В. Л. Давыдова Д. Давыдову, проживавшему в Париже.

Кроме Пушкинских бюстов и вещей, на выставке было представлено двадцать девять витрин с экспонатами. В некоторых из них были выставлены Пушкинские юбилейные издания, вышедшие в Сов. России и считавшиеся за границей редкостью. Мне удавалось получать их при помощи моих друзей — французских и английских дипломатов, аккредитованных в Москве, или в «Доме Книги», организовавшем на Пушкинской Выставке обширный книжный станд советских и зарубежных русских изданий.

Перечисляю некоторые витрины: оригинальные издания Пушкина, репродукции с его рукописей и подлинные рукописи, реликвии Пушкина и среди них экспонат, привлекавший особое внимание, воистину страшная реликвия: подлинные пистолеты, на которых происходила дуэль между Пушкиным и Дантесом. Быть может, нельзя было никогда установить, из какого именно пистолета вылетела смертоносная пуля, лишившая Россию и мир Пушкина, кто из дуэлянтов держал в руке тот или иной пистолет, но, глядя на эти пистолеты, каждый мог быть уверен, что из одного из них был убит Пушкин. Пистолеты эти для Выставки я получил от родственников Баранта. Пистолеты принадлежали графу Баранту, французскому послу в Петербурге, который одолжил их для дуэли Аршиаку, секунданту Дантеса. Правда, на дуэль была привезена другая пара пистолетов Данзасом, секундантом Пушкина. Использована была и вторая пара ибо упавшему Пушкину, выразившему желание стрелять, Данзас подал второй пистолет.

***

На открытии выставки присутствовал внук Пушкина Н. А. Пушкин, которому по праву принадлежала честь открытия выставки. Его сын Александр тоже присутствовал на открытии. Н. А. Пушкин произнес речь, в которой подчеркнул значение открывшейся выставки:

«Открывая сегодня в Париже эту выставку, — сказал он — я должен прежде всего выразить благодарность и мою глубокую признательность ее организатору, Сергею Лифарю, который этой манифестацией венчает свое великое дело, преданному служению памяти Пушкина, русской культуре и искусству.

Еще несколько лет назад — продолжал Н. А. Пушкин — имя моего великого деда, наиболее великое и наиболее дорогое всякому из всех русских имен, было известно за пределами России лишь небольшому кругу литературной элиты. Празднования Пушкинских юбилеев происходили все в России, национальным гением которой он был. Сегодня вся Европа, весь мир воздает ему почести. И в этом признании гения Пушкина, на долю Лифаря, — и я хочу это подчеркнуть — его достоинств и его энергии приходится не малая часть заслуги.

Должен признаться, что я ехал в Париж на эту выставку с чувством некоторого предубеждения, ибо, отдавая себе отчет в тех трудностях, с которыми сопряжено создание подобной выставки заграницей, я думал, что она рискует оказаться бедной, неполной, недостойной того, кому она посвящена. Но как только я переступил порог зала выставки, я был охвачен энтузиазмом. Я нашел выставку столь совершенною, столь полно отражающею эпоху Пушкина, что без всякого сомнения она должна занять одно из первых мест в списке юбилейных торжеств столетия смерти Пушкина».

*
* *

Присутствие родственников Пушкина на открытии Выставки, приехавших специально для этого из Брюсселя, по моему приглашению, дало мне возможность присутствовать и даже, точнее говоря, быть организатором некого события, имеющего символический характер: примирения семьи Пушкина с семьей Дантеса.

Потомки Жоржа Дантеса живут в Париже и мне удалось их разыскать. Сам Дантес, как известно, дожил до глубокой старости.

Примирение между потомками Пушкина и Дантеса, произошло у меня в гостинице «Вуйемон», где я жил тогда и где устроил прием за несколько дней до открытия выставки. Это примирение было как бы выполнением последней воли Пуш-

кина, который, умирая, говорил жене слова примирения и прощения.

На приеме этом присутствовал «весь Париж», и это тоже служило целям всемирного прославления нашего великого поэта.

Великая княгиня Мария Павловна, великий князь Димитрий Павлович, великий князь Андрей Владимирович с супругой княгиней Матильдой Красинской-Кшесинской, князь Трубецкой с супругой Л. Н. Егоровой — были моими гостями. Была здесь и княгиня Наталия Палей, артисты М. Х. Т. Хмара, Кедрова и др.

⁂

Выставка вызвала многочисленные отзывы в парижской и мировой печати. Замечательно было то единодушие, которое проявилось в оценке выставки со стороны органов печати, восторгавшейся ею, подчас самых противоположных направлений. О выставке писали благожелательно « L'Action Française », « L'Humanité », « La Flèche », « La Liberté » и др.

Восторженные статьи и отзывы о Пушкинской Выставке появились в « Figaro », « La Revue des Deux Mondes », в « Marie-Claire », « Saison de Paris », « Vogue », « Je suis partout », « L'Echo de Paris », « Paris-Midi », « Paris-Soir », « Le Jour », « Beaux-Arts », « Excelsior », « Le Journal des Débats », « Minerva », « Nouvelles Littéraires », « L'Ordre », « Demain », « Candide », « Le Petit Parisien », « Le Petit Journal », « Ce Soir », « Correspondant Havas », « Cyrano », « L'Intransigeant », « Toutes les Editions », « Vendredi », « Lumière », « Le Journal », и т. д. и т. д.

Мне было бы трудно дать здесь хотя бы краткий обзор всей французской печати о Выставке. Приведу лишь несколько наиболее характерных образцов: Газета « Le Figaro » писала: «Международный праздник столетия должен поставить Пушкина на его настоящее место, среди самых больших писателей мира».

Обширную статью посвятила выставке газета « Beaux Arts ». В статье были такие строки:

«Эта выставка, устроенная в изгнании, вдали от музеев и книгохранилищ России, нашла средства не только полно отразить жизнь и творчество Пушкина, но и внести новый вклад в науку о Пушкине в виде рукописей и предметов, которые до сих пор никогда еще не выставлялись».

В « La Flèche » писали:

«Мне тем приятнее говорить о Пушкинской Выставке, что у меня нет никакой слабости к выставкам-воспоминаниям. Но есть выставки-воспоминания и выставки-воспоминания... Эта

выставка — чудо в своем роде. Она воскрешает с предельным вкусом эпоху, в которой жил один из самых больших поэтов человечества...»

В журнале « Vogue » была напечатана статья, в которой говорилось:

«Как нужно благодарить Сергея Лифаря за то, что он организовал эту волнующую Пушкинскую Выставку... Трудно представить себе ансамбль более разнообразный, более пленящий и более воскрешающий эпоху, который был предложен восхищенному любопытству многочисленных посетителей».

Дав обзор Выставки и ее экспонатов, автор статьи заканчивает ее: «Воскресив Пушкина, Сергей Лифарь, при доброжелательном участии многочисленных коллекционеров, сделал для нас ощутимой всю его эпоху; вот чудесный результат».

О воскрешении эпохи говорили почти все журналы и газеты. Особенно убедительной в этом отношении была статья Марка Амьо в « L'Echo de Paris ».

«Что характеризует эту выставку — писал он — это обстановка. Воскрешен не только Пушкин, но так же и его современники, те, кто его знал, кто его любил или ненавидел, его эпоха, тот XIX век, который был, быть может, таким же великим русским веком, как XVII был нашим. И все это связано одно с другим, одно дополняет другое...»

Роже Ланн посвятил несколько статей выставке в « La Semaine de Paris » и закончил замечательной фразой: «Открытая Пушкинская Выставка на несколько недель устанавливает присутствие поэзии в сердце Парижа».

Обстоятельную статью посвятил выставке Жерар д'Увилль в « La Revue des Deux Mondes ». В ней он писал:

«Пушкинской выставкой мы обязаны Сергею Лифарю, который устроил ее в зале Плейель с совершенным вкусом и благоговением. Вокруг прекрасного бюста и нескольких портретов Пушкина собраны портреты, рисунки, эстампы, представляющие знаменитых людей, которые были его современниками, от императора Николая до различных князей и великих князей, ослепительных светских красавиц, возлюбленных, титулованных особ, в их одежде, которую носили сто лет тому назад, с длинными спадающими локонами или с высокими взбитыми прическами...»

⁂

18 апреля 1937 года — последний день Пушкинской Выставки — ознаменовался торжественным собранием, состоявшимся в большом зале Выставки. Среди выступавших ораторов,

отметивших большое культурное значение выставки, выступил на эстраде И. А. Бунин, читавший стихи Пушкина.

Меня глубоко тронули преподнесенные мне на собрании открытые письма от Митрополита Евлогия и Александра Плещеева, тексты которых я привожу ниже.

Глубокоуважаемый Сергей Михайлович,

Сегодня русские люди единодушно горячо приветствуют вас за ваши большие и разнообразные труды, посвященные имени нашего величайшего поэта А. С. Пушкина. Прекрасным завершением этих трудов является организованная вами Пушкинская Выставка, где собрано так много предметов, характеризующих и личность поэта и его эпоху, способствующих уяснению его исторического образа. Это ваша большая заслуга пред нашей национальной русской культурой, — пред Родиной и, в частности, пред русской эмиграцией. И за это позвольте и мне, как русскому человеку, свято чтущему память нашего великого поэта, выразить вам мое восхищение и сердечную благодарность.

Да благословит вас Господь!

Глубоко уважающий вас

† Митрополит Евлогий.

Париж.

Дорогой друг,

Вы совершили буквально подвиг — почтив устройством блестящей Выставки 100-летие со дня кончины Пушкина (1837), Выставки, которая в сердцах ваших соотечественников вызвала единодушную, глубочайшую вам благодарность и восторг, объединив в этом хоре все партии, все классы, представителей всех народностей России.

Такая выставка в память поэта вызвала бы одинаковый восторг и в Петербурге, и в Москве. Вы напечатали роскошно изданный каталог этой выставки, перепечатали первое издание «Евгения Онегина» — издали собрание неопубликованных писем Пушкина, ряд брошюр о поэте, несколько его портретов и проч.

Ваше Пушкинианство — это чудо в условиях нашей жизни в изгнании, это незабываемая ваша заслуга перед нашей общественностью, удостоившей вас поднесением медали с портретом Пушкина, и перед иностранцами, начиная с фран-

цузских ученых и писателей во главе с Полем Валери и Кокто, горячо приветствовавших вместе с нами Пушкинские дни в Париже.

Нам всем известно, каких трудов, забот и неприятностей стоил вам этот национальный праздник.

Красивую страницу в историю русской культуры за рубежом вписали вы.

За мою долголетнюю жизнь я впервые встретил в лице вас, знаменитого балетного артиста — пламенного Пушкинианца... Встреча, дорогой друг, для меня совсем неожиданная...

Не верилось в успех вашей выставки, но ваша любовь к России, к вашей родине, победила все преграды и восторжествовала.

Александр Плещеев.

Париж.



Пушкинская Выставка оказала исключительно большое влияние на отношения французского общества к русской культуре, русской литературе, она дала ей большое и лучшее представление о ней. До самого последнего времени французы знали русскую литературу только второй половины XIX века — Тургенев, Толстой и Достоевский. Знали Ленина, Сталина, Мусоргского, Шаляпина, Дягилева, Павлову, но не Пушкина. В связи с чествованием столетия со дня смерти Пушкина они услышали имя великого русского поэта и узнали что он является самой большой русской гордостью. После выставки французская печать (и начавшее завоевывать слушателя радио) заговорила о русском искусстве с большим знанием дела, а о Пушкине, как о лучшем и гениальном представителе и выразителе русской культуры и ее «золотого века» — первой части XIX столетия.

Русские ежедневные газеты, выходящие в Париже: «Возрождение», «Последние Новости» и еженедельный журнал «Иллюстрированная Россия» выпустили специальные отдельные юбилейные номера.

К сожалению, размеры настоящего исследования не позволяют остановиться подробно на содержании и оформлении обширнейших материалов и статей, посвященных Пушкинскому юбилею и появившихся в русской зарубежной мировой печати.

Все эти материалы и издания находятся в моих собраниях и бережно хранятся.

⁂

Большой интерес представляют собой переводы произведений Пушкина и труды, посвященные анализу его творчества, появившиеся на иностранных языках во всех частях света в связи с юбилейным годом. Русские литераторы и художники нередко принимали участие в подготовке таких изданий. Например, первый полный перевод «Евгения Онегина» на итальянский язык (проф. Ло Гатто) вышел в роскошном издании с предисловием Вячеслава Иванова и богато иллюстрирован русским худ. Н. Кузьминым. Интересен так же большой труд итальянца Кюфферле «Театр Пушкина», вышедший к юбилейному году.

Программа пушкинских торжеств была разработана Пушкинским Комитетом и включала в себя ряд манифестаций — собраний, лекций и концертов. Торжественное собрание памяти Пушкина было назначено на 11 февраля 1937 года в зале Иена — в столетнюю годовщину смерти поэта, но фактически пушкинские торжества начались еще за год до того, 17 марта 1936 года, художественным вечером в зале Плейель.

С этим вечером у меня связано много любопытных воспоминаний. Осуществляя нашу общую идею всемирного прославления русского национального гения, я поставил себе целью привлечь к участию в чествовании Пушкина самых выдающихся представителей европейской культуры. Одним из наиболее ярких и прославленных ее представителей был в те дни поэт и философ Поль Валери, и именно к нему я обратился с просьбой выступить на вечере и сказать слово о Пушкине. Велико было мое изумление, когда Валери откровенно заявил мне, что он вообще не знает, кто такой Пушкин. Я с удовольствием вспоминаю нашу беседу, которая после того началась. С жаром и увлечением я рассказал Полю Валери о том, кто такой Пушкин и чем он является для каждого русского человека и чем он должен быть для каждого культурного человека на земном шаре. Мне кажется, я говорил достаточно убедительно и покорил Валери. Он согласился произнести краткую речь о Пушкине и просил лишь меня приготовить ему небольшой конспект с изложением основных данных, касающихся Пушкина. Этот конспект я приготовил, и по нему — в переработанном им виде — Валери читал свою речь на Пушкинском вечере, в зале Плейель.

Многие французские академики охотно согласились войти в почетный комитет вечера и сами присутствовали на нем.

Интересно отметить, что с этой же речью Поль Валери выступал вторично через год в Сорбонне. Это было 29 января 1937 года на торжественном чествовании Пушкина, организованном французским правительством. На этом собрании, носив-

шем официальный характер, присутствовал советский посол Потемкин. С речами, кроме Поля Валери, выступали министр народного просвещения Жан Зей и профессор Мазон.

Я на этом вечере не присутствовал. Меня не пригласили. Позже Поль Валери рассказывал мне, что перед началом собрания организаторы из Советского Посольства просили его дать ознакомиться с содержанием его речи. Речь эта была та же, что и произнесенная им на моем концерте 1936 года. В ней Валери откровенно признавал, что до встречи со мной, Лифарем, он имел о Пушкине весьма смутное представление. Это место речи Поля Валери было «рекомендовано» выпустить, чтобы не упоминать имя Лифаря.

— Вот видите, Лифарь, как мы теряем свободу, — с горечью прибавил Валери, рассказывая мне об этом.

— А как же, мой дорогой Maître et Ami, вы уступили?...

В программу моего художественного вечера 1936 года я включил мой новый балет «Жюрупари» на музыку бразилианского композитора Вилла Лобос. Париж был заинтересован моей хореографией и новым балетом. Танец и балет открывали поэту новые двери дружбы. Принимала участие также и балерина Вера Немчинова.

Концертное отделение вечера было одним из наиболее блестящих среди других концертов парижского сезона. Сбор с этого концерта был передан мною Пушкинскому Комитету.

Второй устроенный мною Пушкинский вечер входил уже в программу начинавшихся пушкинских торжеств, точнее говоря, он их открывал. Вечер этот состоялся также в зале Плейель 8 февраля 1937 года, за три дня до торжественного собрания Пушкинского Комитета.

Вечер этот, правильнее было бы назвать его юбилейным спектаклем, носил торжественный характер. По выражению в отчете Пушкинского Комитета, «это был смотр русских композиторов, которых вдохновил гений Пушкина и которые написали одни из лучших своих опер и романсов на пушкинские слова и темы. В программу спектакля, которой предшествовало слово товарища председателя Пушкинского Комитета М. М. Федорова, входили опера «Русалка» Даргомыжского, сцены из «Руслана и Людмилы» Глинки и обширные балетные интермедии из этих опер в моей постановке при участии учениц балетных студий Кшесинской, Трефиловой, Егоровой и Преображенской. Кроме того, я сам танцевал с балериной солисткой Парижской Оперы Лисетт Дарсонваль на музыку Чайковского «Синяя

Птица» из «Спящей Красавицы». А. Ремизов читал «Сказку о золотой рыбке».

Спектакль имел очень большой художественный и материальный успех. Повторяю, что чистый доход с него в размере 22.028 фр. 70 см. пошел на покрытие дефицита по изданию юбилейного собрания сочинений Пушкина.

Большое торжественное собрание Пушкинского Комитета под председательством В. А. Маклакова состоялось 11 февраля — в день столетней годовщины смерти поэта — в зале Иена. На этом собрании произнесли речи В. А. Маклаков, И. С. Шмелев, Д. С. Мережковский, проф. Э. Оман и Ж. Легра, А. В. Карташев и М. М. Федоров.

После этого торжественного собрания, состоялся еще ряд вечеров и концертов в честь Пушкина, устроенных комитетом «Дня русской культуры» и другими организациями. Всего в эти дни в Париже таких Пушкинских вечеров было устроено более 40 (в том числе вечер Союза деятелей русского искусства совместно с Пушкинским Комитетом в зале Иена 21 февраля). Мною был устроен еще третий вечер совместно с Русским Народным Университетом и Тургеневской библиотекой 18 марта в зале Плейель. Вступительное слово перед поднятием занавеса было сказано М. Л. Гофманом и правнуком Пушкина А. Н. Пушкиным. Большим симфоническим оркестром дирижировал М. Штейман. Выступали артистки Е. Карницкая, М. Крыжановская, Вера Бринер, М. Каншин и др. Для этого торжественного и художественного вечера я поставил танец «Витязь» на муз. Глинки и хореографические сцены по поэме Пушкина «Цыганы» на муз. Ковалева.

Большая Парижская Опера, по моей инициативе, тоже отметила столетие смерти Пушкина, дав торжественный спектакль «Борис Годунов», где в полонезе танцевал я.

Помимо всевозможных юбилейных манифестаций, непосредственно руководимых мной, многим организациям Пушкинских вечеров я оказывал свое содействие в составлении программ, предоставлением отдельных номеров, артистов и т. д.

Заключительный Пушкинский вечер состоялся 13 февраля 1938 г. в зале Плейель. Я поддержал эту художественную манифестацию не только своим выступлением на сцене, но и подготовкой значительной части программы вечера, поставив балетное отделение из оперы «Русалка» на муз. Даргомыжского и танец «Золотого Петушка» на муз. Римского-Корсакова.

Задуманный еще в 1935 г. балет на Пушкинскую тему «Пир во время чумы» я намеревался поставить на сцене Большой Оперы в 1937 году. План постановки был мной детально разработан, а русский композитор эмигрант Артур Лурье закончил музыкальную партитуру, но постановку пришлось отменить — необходимые кредиты не были утверждены министром своевременно.

Несколько раз я пытался привлечь Ф. И. Шаляпина к участию в Пушкинских торжествах. Но несмотря на его дружеское отношение ко мне и мои просьбы, мне не удалось заручиться его согласием.

Помню одну встречу у него дома в Париже, на авеню d'Eylau, в 1937 году.

Принял он меня, как всегда, ласково. Расспрашивал о моей балетмейстерской работе в Большой Опере, о моих Пушкинских изданиях, говорил о балете. Но когда я ему сказал, что теперь он внемлет нашему «пушкинскому призыву», он меня остановил.

— Лифарь, не настаивай, не буду петь даром, поют бесплатно только птички небесные... Давай лучше откроем вместе Академию Драматического Искусства в Париже. Для начала будем играть «Моцарта и Сальери» Пушкина. Ты будешь Моцартом, а я Сальери. Слушай!..

И не глядя в текст, по памяти, начал декламировать обе роли: — Моцарта и Сальери. Слушал я его с возрастающим трепетом. Я был обворожен глубиной слова, изяществом дикции, мимикой, страстностью и стихийностью этого великого актера.

Никогда я не слышал и думаю, что не услышу такого гениального мастерства. Я присутствовал на мистерии, «чудечудес» драматического искусства и перевоплощения. Я был потрясен, раздавлен...

Через год, в Париже, после долгой болезни Шаляпин скончался.

Умер великий русский актер на чужой земле, вдали от Родины, но прославил ее во всем мире.

***

Манифестациями в дни столетия смерти Пушкина не ограничилось мое участие в прославлении имени нашего национального поэта. Двенадцать лет спустя, в 1949 году, новая юбилейная дата — 150-летие со дня рождения Пушкина — вновь дала мне повод принять участие в прославлении его памяти. Мои усилия на этот раз были направлены в сторону русской молодежи, живущей в Париже. Эти юноши и девушки, достигшие уже такого возраста, в котором доступно восприятие поэзии Пушкина и сознательное отношение к его творчеству, родились и выросли на чужбине, вдали от источников родной великой культуры, и тем более необходимо было направить свои усилия на ознакомление их с этой родной культурой. Вот почему, задумав вторую Пушкинскую выставку, я решил устроить ее в русском учебном заведении — в русской гимназии имени кн. Донской, в Париже. Выставка эта, на которой, помимо книг, рукописей, рисунков и других реликвий великого поэта из моей собственной коллекции, было много экспонатов, любезно предоставленных мне другими коллекционерами, продолжалась с 26 июня по 10 июля 1949 года и имела большой успех не только у посещавших ее школьников, но и у многочисленных посетителей старшего возраста. Всего на выставке было представлено более 150 экспонатов.

25 июня, в ознаменование 150-летия со дня рождения Пушкина, в русской гимназии мною был организован большой концерт. К участию в нем я привлек лучшие оперные, драматические и хореографические силы Парижа, как русские, так и французские. Из русских артистов назову М. Крыжановскую, М. Давыдову, проф. Дольницкого, русско-французских артисток Людмилу Питоеву и Марсель Жения. Из французских артистов в концерте принимали участие балерины Соланж Шварц, Лисетт Дарсонваль, Иветт Шовире, Лиана Дайде, Клод Бесси, Райе, Клавье, а также певец Большой Оперы Роже Рико, исполнивший сцену смерти Бориса Годунова.

Драматург и режиссер Н. Н. Евреинов, принадлежащий с Мейерхольдом, Станиславским и Немировичем-Данченко к «могучей кучке» реформаторов драматического театра, принял тоже участие в этом концерте-гала. Я танцевал на сцене под его вдохновенную декламацию Пушкинского «Пророка», созданного мной для этого праздника. Пластически, образ «Пророка» я приблизил к «Прометею». Я участвовал также в поставленной мной балетной интермедии из «Евгения Онегина» с балеринами: Иветт Шовире, Лианой Дайде, Клод Бесси и др.

Выставка эта, как и концерт, были организованы под председательством правнука Пушкина, Александра Николаевича Пушкина. Конферировал артист из Comédie Française Роберт Манюэль. Этими подробностями я хочу подчеркнуть русско-французский характер вечера, иными словами, участие иностранных артистов в прославлении нашего великого поэта. Выпуск учеников Русской гимназии этого года был под знаком «Пушкинского выпуска».

*
**

Такова в общих чертах моя деятельность в качестве члена Пушкинского Комитета и пушкиниста. С чувством огромной радости я вспоминаю, что работа моя была оценена Пушкинским Комитетом, который выразил мне свою признательность в адресе, приведенном мною в начале этого очерка. Еще более трогательным и ценным для меня был жест Пушкинского Комитета, решившего оставить мне вещественную память о моей работе. В протоколе заседания Пушкинского Комитета от 14 октября 1937 года (это было одно из последних заседаний Комитета) говорится:

«В ознаменование заслуг члена Президиума Пушкинского Комитета С. М. Лифаря, так много сделавшего для успеха чествования А. С. Пушкина и устроившего блестящую Пушкинскую Выставку в Париже, поднести ему от Пушкинского Комитета золотую медаль с изображением Пушкина. Медаль тут же подносится Сергею Михайловичу под аплодисменты всего собрания».

Эту медаль я свято храню, как память о моем участии в дорогом для меня деле прославления имени Пушкина и служения России...

За мои литературные «пушкинские подвиги» я получил лестную для меня награду: в ремизовской «Обезьяньей Академии» я занял кресло Максима Горького, умершего в Советском Союзе в 1936 г.

Наши парижские закрытые и литературные собрания, с Буниным, Мережковским, Ремизовым, Шмелевым, Гиппиус, Зайцевым, Алдановым, Милюковым, Адамовичем, А. Бенуа,

М. Добужинским, Н. Гончаровой, обогащали меня, радовали, увлекали. Присоединялись к нам Рахманинов и Шаляпин. С Ходасевичем спорили, ссорились, полемизировали.

Молодые парижские поэты литературного кружка, существовавшего в то время, постоянно встречались со мною на Монпарнассе в « Rotonde », « Deux Magots » или в русском ресторане « Dominique ».

В их невеселую эмигрантскую жизнь проникал солнечный луч надежды — быть, творить, верить, любить Россию.



Печать Всемирного Пушкинского Комитета. 1937 г.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Мои статьи о Пушкине

(Текст надписи Жана Кокто на его рисунке, сделанном для иллюстрации моей статьи в "Фигаро".)

Comme on ne peut ôter une fleur de la mer, on ne peut traduire Pouchkine. Je suppose qu'il ne s'agit pas d'une musique de poème — il doit s'agir d'une goutte de sang nègre du dynamisme de Harlem, de la pulsation du « band », du rythme noir.

Jean Cocteau

à mon cher Serge Lifar

Janvier 1937

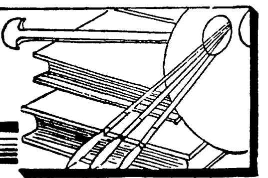
Как нельзя сорвать цветка с моря, так невозможно перевести Пушкина. Я полагаю, что причина этого не связана с музыкой поэмы, а все происходит от капли негритянской крови с динамизмом Гарлема, пульсацией джаз-банда и ритмом черных.

Жан Кокто

Моему дорогому
Сергею Лифарю

Январь 1937

LITTÉRAIRE



ADIO SCOLAIRE

ND LES ÉLÈVES ÉCOUTENT PAUL VALÉRY ANS LE VOIR

·ens ont pu entendre, sans quit-
ics de leur classe, M. Paul Valéry
· du rôle du poete,
de la radio !
ıelques jours, M. Tristan Bernard
ntretenus de l'éducation sportive;
e Martin du Gard, de la compo-
ıçaise : M. André Demaison, de
: animale.. .
part, chaque jour, les lycéens
couter un cours de latin, d'his-
e géographie, radiodiffusé à leur

e dis qu'ils « peuvent écouter »,
ıs tout à fait vrai car on n'a pas
réaliser la coïncidence absolue
émissions et la nature des cours.
e, d'une façon générale, les émis-
ımbent mal ». C'est pendant le
ıtoire que « passe » le latin, et
: cours de latin que « passe »

este pas moins vrai que cette en-
Radio dans les mœurs scolaires
nement d'importance.
déja s'inquiètent :
on remplacer les professeurs par
nonyme ? Le cours fait devant le
-il se répandre sur tous les lycées
a la meme minute ?

Proviseur de Condorcet nous dit...

ıllée consulter l'aimable proviseur
Condorcet. Je l'ai trouvé, tapant
ı sur une machine à écrire. C'est
· moderne, prêt à accueillir les
modernes.
le moment, m'a-t-il dit, il s'agit
ıment d'apporter à l'enseignement
ment, une illustration.
ommes en pleine période d'essais.
nents...
e monde cherche.
ıférenciers cherchent la forme qui
le mieux au sujet a traiter de-
:io.
ofesseurs cherchent par quels pro-
niques ils pourront utiliser au
.e chose merveilleuse qui vient
s leur classe.
chniciens cherchent la meilleure
ıdaptation.
.o à l'école c'est une petite révolu-

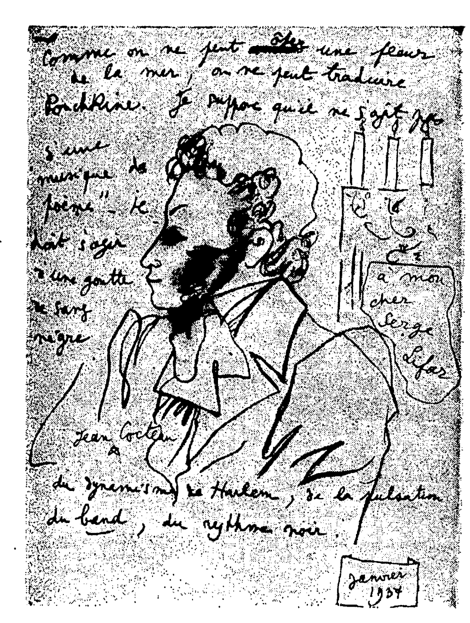
se qu'il faut chercher a l'employer
emploie le film ou le disque. C'est
de travail nouveau qui nous ap-
ssibilite d'une illustration immé-

· le répète, tout le monde cherche.
de comprendre que le cinéma de-
ı moyen nouveau d'expression, on
· a mettre « le theâtre en conser-
ıe erreur pour la radio.
rait pouvoir transposer l'émotion
ns la forme sonore.
xemple, nous avons ici un film
beaucoup les enfants, c'est un
circulation du sang.
lio, dans son domaine, nous ap-
ute une gamme d'illustrations

POUCHKINE DEVIENT UN POÈTE UNIVERSEL

Les fêtes internationales du centenaire doivent le placer à son rang véritable, parmi les plus grands écrivains du monde

Par *SERGE LIFAR*



Pouchkine vu par Jean Cocteau.

Il y aura cent ans, le 11 février, mourait Pouchkine, le plus grand poète russe, « le premier amour de la Russie » chanté par Tioutchev en vers inoubliables :

Comme un premier amour
Le cœur de la Russie ne l'oubliera jamais.

Une premiere fête commémorative eut lieu, en juin 1880, à l'occasion de l'inauguration d'un monument à Pouchkine

aurions-nous eu moins de malentendus et de disputes intestines. Dieu ne l'a pas voulu. Pouchkine est mort en plein épanouissement de ses forces. Il a emporté dans la tombe une grande énigme qu'il nous faut désormais résoudre sans lui. »

Cette prophétie de Dostoievsky ne prédit-elle pas exactement l'année 1937, où le monde entier devait honorer Pouch-

Статья С. Лифаря о Пушкине с рис. Ж. Кокто.

“Фигаро”, 23 января 1937 г.

« Figaro Littéraire », 23 janvier 1937. Paris.

Pouchkine devient un poète universel

LES FETES INTERNATIONALES DU CENTENAIRE DOIVENT LE PLACER A SON RANG VERITABLE, PARMI LES PLUS GRANDS ECRIVAINS DU MONDE

par

SERGE LIFAR

Il y aura cent ans, le 11 février, mourait Pouchkine, le plus grand poète russe, « le premier amour de la Russie » chanté par Tioutchev en vers inoubliables :

« Comme un premier amour
Le cœur de la Russie ne t'oubliera jamais. »

Une première fête commémorative eut lieu, en juin 1880, à l'occasion de l'inauguration d'un monument à Pouchkine érigé à Moscou. Cette fête peut nous apparaître comme quelque peu anachronique à une époque où l'utilitarisme est à l'ordre du jour, où l'on proclame officiellement « qu'une paire de chaussures vaut mieux que Shakespeare » et que la Beauté en soi-même est absolument superflue au point de vue vital.

La Russie semblait avoir oublié son premier amour, le Poète qui avait fait naître un enthousiasme juvénile dans les cœurs de ses contemporains, avides d'une culture qui commençait à leur être accessible, et aussi quelques gens éclairés avaient perpétué au fond de leur cœur le souvenir du grand Précurseur ; certains depuis Lermontov et Gogol jusqu'à Tourgueniev et Dostoïevsky, lui avaient voué un véritable culte. Ce fut à ces deux derniers, ainsi qu'à Klioutchevsky, qu'échut l'honneur de prononcer les discours d'inauguration. N'était-ce pas prêcher dans le désert ? Les paroles qu'ils allaient prononcer, si belles qu'elles fussent, ne risquaient-elles pas de paraître vaines, inutiles ?

Il n'en fut, heureusement, rien. La bonne parole des orateurs se porta à travers toute la Russie. Le pays entier sortit enfin de son silence et fit écho par des acclamations enthousiastes. La cérémonie devint une fête nationale, annonciatrice de solennités plus grandes encore...

C'est ainsi qu'après un discours enflammé et véritablement prophétique, Dostoïevsky concluait :

« Je le répète, nous pouvons proclamer désormais le génie universel de Pouchkine. Il a su, en son âme, unir le génie de l'univers entier, comme le sien propre. En art, ou du moins dans le domaine de la création artistique, il a mis en évidence la complexité, l'universalité des tendances de l'esprit russe ; et il l'a fait d'une manière absolue.

« N'est-ce pas énorme ?

« Si toutes nos pensées ne sont que fantaisie, cette fantaisie trouve, grâce à lui, une base. Qui sait ? S'il avait vécu davantage, peut-être aurait-il pu refléter l'âme russe en des images précises, grandes et éternelles, accessibles à nos frères d'Europe. Peut-être eût-il eu le temps de leur prouver la véracité de nos tendances. Et l'Europe nous eût mieux compris. Elle nous eût devinés, elle se serait rapprochée de nous, en pleine confiance, et sans cette sorte de mépris qu'elle a encore pour notre pays. Peut-être enfin aurions-nous eu moins de malentendus et de disputes intestines. Dieu ne l'a pas voulu. Pouchkine est mort en plein épanouissement de ses forces. Il a emporté dans la tombe une grande énigme qu'il nous faut désormais résoudre sans lui. »

Cette prophétie de Dostoïevsky ne prédit-elle pas exactement l'année 1937, où le monde entier devait honorer Pouchkine ?

Le discours de Dostoïevsky produisit une telle impression qu'il faillit devenir lui-même le héros de la fête.

Mais une autre voix retentit qui resta sans écho : celle de la Russie paysanne. Le paysan Gelnobobov constatait « avec joie » que Pouchkine avait aussi été « un grand poète paysan », que « son âme géniale et pure avait eu quelque chaleur pour une classe que les aristocrates disent vile, et qui, en réalité, du point de vue divin et humain, est peut-être la plus noble de toutes, car tel un immense pilier elle est le soutien inébranlable du pays entier ! ». « Ce sera une belle fête, poursuivait Gelnobobov, une solennité qui prouvera que le peuple russe comprend l'importance de Pouchkine, « ce grand artisan de la récréation de la parole de Dieu ».

« Je me permettrai de remarquer toutefois que la comparaison des deux époques (celle de Pouchkine et la nôtre) paraît s'imposer.

Pouchkine a écrit du temps que le servage existait encore. L'organisation du pays, le pays lui-même, tout enfin était différent de ce qui est maintenant et de ce qui sera dans un pays où le travail sera libre. Le servage n'a pu qu'étouffer — en partie du moins — l'épanouissement du génie poétique de Pouchkine dans le domaine de la création populaire.

Aussi la fête célébrée n'aurait-elle pas toute l'ampleur voulue, si l'on n'y prononçait un ou plusieurs discours opposant l'époque de Pouchkine à la nôtre, celle où le grand poète devient accessible à notre peuple libre et laborieux ».

Sept ans après, en 1887, on commémorait le cinquantenaire de la mort de Pouchkine. La société russe fit de son mieux pour donner quelque lustre à la cérémonie ; elle ne put y réussir et la commémoration passa à peu près inaperçue. A cela près que les œuvres de Pouchkine tombèrent dans le domaine public.

La cérémonie de 1887 n'avait pas eu d'importance propre. Elle servit de préface aux grandes fêtes nationales russes de 1899 — année du centenaire du poète. La commémoration de 1899 fut célébrée par la Russie entière — autant par le gouvernement que par le peuple. Les œuvres de Pouchkine furent éditées à des millions d'exemplaires que l'on distribua gratuitement aux écoliers, aux bibliothèques et jusqu'aux cafés.

La Russie entière fut couverte d'images du poète. Il y eut des séances de lecture, des conférences, des concerts, des soirées, des expositions consacrées à Pouchkine. Les savants se vouèrent de plus en plus à l'étude de son œuvre : il n'y eut, pour ainsi dire, pas de jours sans qu'une publication — traitant de Pouchkine — ne parût. L'année 1899 fut véritablement « l'année Pouchkine ». C'est alors que la Russie découvrit son génie et revint à son premier amour.

Pouchkine ne l'avait-il pas prévu, quelques mois avant sa mort, au moment où la calomnie sévissait sur lui et sans qu'il pût avoir aucun espoir d'en faire justice quand il écrivit son « Monument » ? (Les vers ci-dessous sont adaptés de la traduction d'A. Hirondelle) :

EXEGI MONUMENTUM

Je me suis érigé mon propre monument
Qui n'est point l'œuvre de ma main ;
Et jamais le sentier qui y mène le peuple
Ne sera envahi de ronces.
Plus haut même que la colonne Alexandrine,
Il a dressé son front rebelle.

Non ! Je ne mourrai pas tout entier ! Et mon âme
En ma lyre sacrée survivra à ma cendre,
Et sera sauvée du néant.
Ma gloire durera tant qu'ici-bas vivra,
Fût-il seul au monde, un poète.
Et le bruit de mon nom se répandra partout
A travers l'immense Russie.
Chaque peuple de chez nous me nommera :
Le fier descendant du Slave, et le Finnois,
Et le Tongouse resté jusqu'à présent sauvage,
Et le Kalmouk, ami des steppes.
Longtemps, je serai cher au peuple pour avoir,
Par ma lyre, éveillé de nobles sentiments,
En mon siècle cruel, chanté la liberté,
Appelé, sur ceux qui faillirent, la démence.
O Muse : obéis à la volonté divine :
Sans redouter l'offense et briguer la couronne,
Reçois, indifférente, éloge ou calomnie
Et ne contredis pas le sot.

Parmi les multiples brochures consacrées à Pouchkine et parues à cette occasion, il en faut retenir une : elle traite des « traductions d'œuvres de Pouchkine en cinquante langues et dialectes divers ». On y trouve entre autres quelques pages consacrées à la renommée mondiale de Pouchkine et une curieuse énumération des traductions de ses œuvres en différents dialectes russes, ce qui prouve que Pouchkine était également connu « du fier descendant du Slave, du Finnois, du Tongouse, resté jusqu'à présent sauvage, et du Kalmouk, ami des steppes ».

Toutefois, la véritable signification des solennités de 1899 réside dans ce fait qu'elles ont servi de base au monument érigé à Pouchkine.

Elles ont éveillé l'intérêt des masses ; (intérêt qui n'a fait que croître depuis 37 ans) et elles ont montré, par ailleurs, qu'il n'y avait, à cette époque, aucun recueil critique complet des œuvres de Pouchkine.

L'année 1899 marque le début du « pouchkinisme » — science de Pouchkine — en Russie : on voit paraître une édition académique des œuvres du poète. Des journaux lui sont spécialement consacrés, l'Académie des Sciences inaugure son Musée Pouchkine, etc... Le « pouchkinisme » a survécu à la révolution sociale qui a bouleversé la Russie : des savants, toujours plus nombreux, se consacrent à l'étude de la vie et de l'œuvre du génie national. Il

faut noter, si l'on veut être juste, que les publications qui paraissent actuellement en U.R.S.S. perdent de leur valeur à cause des « obligations sociales » de leur auteurs, et que l'on a fait plus dans le domaine du « pouchkinisme » au cours des dix-sept premières années de notre siècle qu'à la fin du siècle dernier, tant au point de vue quantitatif qu'au point de vue qualitatif.

Nous voici à la veille de la troisième commémoration de Pouchkine : celle du centenaire de sa mort. La Russie soviétique s'y prépare depuis longtemps et ne manquera pas de la marquer de manifestations grandioses. Léningrad et Moscou, les deux capitales, auront de quoi être fières, et pourront exposer des trésors inestimables : manuscrits et reliques de Pouchkine. De plus, on peut prévoir de belles et de nombreuses éditions des œuvres du poète.

On peut s'attendre, en somme, que les cérémonies commémoratives de 1937 dépassent, en faste, celles de 1899 et présentent un intérêt plus grand encore pour le peuple russe.

Réjouissons-nous de ce que certains « pouchkinistes » probes et sérieux aient pu triompher d'une tendance qui paraissait s'imposer : celle de voir en Pouchkine un apôtre et un prophète de la révolution. Rien de plus faux que cette interprétation : Pouchkine a, certes, aimé la liberté :

> « Je serai cher au peuple... pour avoir,
> en mon siècle cruel, chanté la liberté »...

Mais il fut aussi un aristocrate, adversaire de toute révolution sociale, de toute espèce de violence : « Les changements les meilleurs et les plus stables sont ceux qui se produisent sous l'influence du raffinement des mœurs, sans nulle violence. Dieu nous préserve d'assister à un soulèvement en Russie ; il serait barbare et stupide. Si certains songent ainsi, c'est qu'ils sont trop jeunes ou qu'ils connaissent mal notre peuple, ou encore qu'ils sont gens cruels, pour qui la tête du prochain, autant que la leur propre, ne vaut pas un liard. »

L'autre Russie — j'entends par là la Russie en exil — s'apprête, elle aussi, à commémorer le centenaire de la mort de Pouchkine. Elle n'a pas à sa disposition les richesses de l'U.R.S.S. Elle n'a que peu de savants spécialistes dans l'étude de Pouchkine. Elle n'a pas non plus de vastes collections de manuscrits ni de galeries de tableaux ni de musée Pouchkine.

Mais elle a autre chose : une passion réelle et vive pour celui qui fut « le premier amour de la Russie ».

L'U.R.S.S. a eu la possibilité de publier de belles éditions de Pouchkine, avec reproductions de manuscrits du poète, et d'éditer des collections privées dont la richesse fait prévoir que l'Exposition « Pouchkine et son époque », qui doit s'ouvrir prochainement à la Bibliothèque Nationale, sera une grande et belle manifestation.

⁂

La Russie exilée a créé 85 comités Pouchkine, dirigés par un comité central, dont le siège est à Paris. Ces comités ont trouvé les ressources nécessaires pour célébrer le centenaire de Pouchkine par une édition critique de ses œuvres... Des conférences, l'organisation des expositions, des soirées et des concerts, des ballets nouveaux sont créés sur des sujets empruntés à Pouchkine.

Le fait marquant de cette commémoration est qu'elle aura lieu dans trente-sept pays répartis sur les cinq continents. Les notabilités russes — si célèbres fussent-elles — que nous trouvons sur la liste des membres du comité Pouchkine importent peu : ce qui compte c'est que nous y relevons neuf académiciens français ; que la Sorbonne organise une grande séance commémorative ; qu'une Exposition Pouchkine va s'ouvrir à la Bibliothèque Nationale ; que trois Académies européennes vont célébrer le génie national ; et, enfin, que le Théâtre National de l'Opéra de Paris va célébrer le centenaire de Pouchkine en faisant jouer les plus célèbres des opéras inspirés par ce poète.

C'est ainsi que la prophétie de Pouchkine le proclame :

« Non ! Je ne mourrai pas tout entier ! Et mon âme
En ma lyre sacrée survivra à ma cendre,
Ma gloire durera tant qu'ici-bas vivra,
Fût-il seul au monde, un poète. »

Le souvenir de Pouchkine va être célébré pour la troisième fois non seulement en Russie mais dans le monde entier. Jusqu'ici on avait vu en lui un grand poète national russe ; désormais, tous les peuples pourront apprécier la portée de son génie. L'Europe ne connaît pas encore Pouchkine, cela ne l'a pas empêchée de nous faire confiance ; de croire que la Russie avait en Pouchkine l'astre digne de prendre place dans la constellation des plus grands génies.

L'Europe, par les fêtes auxquelles elle va assister, va apprendre à connaître et à aimer Pouchkine. Les radiodiffusions le feront connaître dans les villages les plus reculés.

Quel serait le rôle d'une commémoration si ce n'était de servir de point de départ à une étude plus approfondie de l'œuvre de celui qu'elle célèbre ? Ce fut le rôle du jubilé de 1899, qui amorça le développement du « pouchkinisme ».

1937 rendra Pouchkine universel.

Третий праздник Пушкина

11 февраля исполняется 100 лет со дня смерти величайшего Русского Поэта — «первой русской любви», по вещему слову поэта Тютчева:

Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет.

Первый пушкинский праздник был в июньские дни 1880 года — при открытии памятника Пушкину в Москве. Праздник оказался неожиданным — казалось, что с 1837 года Россия только забывала свою первую любовь; казалось, что в десятилетия победного и торжествующего утилитаризма, когда громко провозглашалось, что «сапоги выше Шекспира» и красота, как красота, как прекрасное, жизни не нужна, забыто было самое имя того, кто полвека назад был любимым русским поэтом и вызывал юношеский энтузиазм в культурно-юном русском обществе; казалось, что имя Пушкина свято и молчаливо хранили в своих сердцах одни русские писатели, чувствовавшие свою живую, кровную связь с величайшим русским гением (у всех русских писателей, начиная с Лермонтова и Гоголя и кончая Тургеневым и Достоевским, был исключительный культ Пушкина), да несколько человек; казалось, что если они заговорят о Пушкине — давно уже в русском обществе не говорили о нем! — их слова прозвучат, как в пустыне — прекрасные, но ненужные слова. И они заговорили на открытии памятника Пушкина — заговорил Тургенев, заговорил Достоевский, заговорил историк Ключевский... И тут произошло июньское чудо: слова их не только услышала молчаливая Россия, но и покрыла их горячими, энтузиастическими аплодисментами и превратила чествование по случаю открытия памятника поэту

в великий национальный праздник, в котором было предвестие будущего великого русского праздника. Особенно зажгла, воспламенила всех пророческая речь Достоевского о пророческом значении Пушкина.

«Повторяю: мы уже можем указать на Пушкина, на всемирность и всечеловечность его гения. Ведь мог же он вместить чужие гении в душе своей как родные. В искусстве, по крайней мере, в художественном творчестве, он проявил эту всемирность стремления русского духа неоспоримо, а в этом уже великое указание. Если наша мысль есть фантазия, то с Пушкиным есть, по крайней мере, на чем этой фантазии основаться. Если бы жил он дольше, может быть явил бы бессмертные и великие образы души русской, уже понятные нашим европейским братьям, привлек бы их к нам гораздо более и ближе чем теперь, может быть успел бы им разъяснить всю правду стремлений наших, и они уже более понимали бы нас чем теперь, стали бы нас предугадывать, перестали бы на нас смотреть столь недоверчиво и высокомерно, как теперь еще смотрят. Жил бы Пушкин долее, так и между нами было бы может быть менее недоразумений и споров, чем видим теперь. Но Бог судил иначе. Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собой в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем...»

Эти заключительные слова пророческой речи Достоевского о 1937 годе — когда снова, но уже совсем иначе, и в другом смысле, и другим, громким, общеевропейским голосом и языком, заговорят о мировом значении Пушкина, — вызвали такую нескончаемую бурю восторгов, что праздник Пушкина стал в то же время праздником и Достоевского — пророка о будущем понимании Пушкина.

На этом первом пушкинском празднике-предвестии прозвучал и другой пророческий голос, пока еще одинокий — голос крестьянский, голос крестьянской Руси. С радостью крестьянин Желнобобов говорил, что «Пушкин был и крестьянский поэт, и что в светлой и гениальной душе его была теплая струйка и к этому у нас сословию, которое по барски считается низким, по человечеству же и по житейски, или же прямо, по Божьи, оно есть выше всех: на нем, как на огромнейшем и сильнейшем столпе все наше государство стоит». Крестьянин говорил, что открытие памятника Пушкина — «торжество будет великое: значит, что нынешний русский народ понимает значение бывшего у себя на Руси великого деятеля в творчестве письменного Божьего слова. За сим я позволю себе сказать, именем нынешнего свободного и многомиллионного нашего

крестьянства, что желательно бы было, чтобы при таком, вполне заслуженном поэтом торжестве, было обращено внимание на приравнение Пушкинской эпохи к нашему времени. Нам, например, очень коротко известно, что все великое поэтическое творчество Пушкина относится ко времени существования у нас, во всей своей силе, крепостного права. И государственный строй и все вообще в нем — были в то время совершенно иные, чем они стали теперь и чем разовьются далее в нашем свободном трудовом государстве. Крепостное право мешало развитию могучего гения, его полному и общенародному творчеству. Итак, великая заслуга будет, если ко всем речам в честь Пушкина при открытии ему памятника присоединится еще одна или больше речей, в которых сопоставится Пушкинское и наше время — время свободного народного труда, когда великий поэт становится доступен этому народу».

Через 7 лет после этого Пушкинского праздника исполнилось 50 лет со дня смерти поэта (в 1887 году), — окончились права наследников на сочинения Пушкина, которые стали общенародным достоянием, пятидесятилетняя годовщина была отпразднована русским обществом, но настоящего, большого и светлого, общенародного праздника не вышло, — правда, что эта годовщина предопределила собой будущее большое, истинно всерусское празднество 1899 года — столетие со дня рождения, — к которому тогда же начали готовиться. Этот праздник — праздник 1899 года — был настоящим великим всерусским праздником, в котором вся Россия принимала участие — и русское правительство, и русское общество, и русский народ. Всем школьникам, народным столовым, библиотекам, чайным, всем раздавались бесплатно сочинения Пушкина, вся Россия покрылась портретами Пушкина, устраивались чтения, лекции, концерты, вечера, выставки, каждый день появлялись новые и новые книги о Пушкине — последний год XIX века прошел под знаком юбилея Пушкина, был в полном смысле слова пушкинским годом. 1899 год открыл России Пушкина — какого Пушкина? За несколько месяцев до смерти, уже предвидя ее (и нельзя было не предвидеть — петля плотно стягивала его шею), Пушкин создал свой памятник — Exegi monumentum, в котором подвел итоги своего великого творческого дела:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
    Александрийского столпа.

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит —

И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Веленью Божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспоривай глупца.

Раскрытию подчеркнутых двух строф и был посвящен Пушкинский юбилей, прошедший под знаком Пушкина — великого русского национального поэта. Праздник был великим всерусским праздником, но только русским — Европа не принимала в нем никакого участия; да и какое дело было Европе до русского поэта, имеющего как будто только местное значение, — западная Европа и не знала русского гения. Среди юбилейной литературы 1899 года о Пушкине (очень обширной) останавливает на себе внимание брошюра «Пятидесятиязычный Пушкин» — обзор переводов Пушкина «на 50 языков и наречий мира» (начало переводов было положено во Франции — в 1823 году): из этой брошюры выясняется, что Пушкин стал известен во всех концах мира, но особенно любопытны указанные переводы на языки всех народностей, составляющих в 1889 году русское государство (многие выпали из него после революции). — Действительно, имя Пушкина назвали «и гордый внук славян, и финн, и ныне дикий тунгус, и друг степей калмык».

Как ни много сделал первый столетний пушкинский юбилей-праздник, значение его заключается больше в том, что он заложил фундамент для будущего громадного пушкинского здания: столетний юбилей годовщины рождения великого гения, с одной стороны, возбудил интерес к нему в массе (и за протекшие 37 лет — мера жизни Пушкина — этот интерес с каждым годом возрастал), с другой стороны, обнаружил, что не

только в России не началось еще научного изучения Пушкина и его творчество не исследовано, но что Россия не имеет еще в настоящем смысле полного собрания сочинений Пушкина: с 1899 года и начинается «пушкиноведение» в России, появляется академическое издание сочинений, специальные пушкинские журналы, создается Пушкинский Дом при Российской Академии Наук и проч. и проч. Это пушкиноведение не было убито Октябрьской революцией, — в Советской России продолжается изучение Пушкина и число работников по Пушкину все растет и растет; справедливость требует, впрочем, отметить, что не только часто работы, выходящие в советской России, бывают обесценены обязательным подходом — «социальным заказом», но что и количественно, и качественно в первые 17 лет XX века по изучению Пушкина было сделано больше, чем за последние 20 лет.

Наступает третий праздник Пушкина, третий юбилей — столетняя годовщина смерти поэта. Сов. Россия давно готовится к этому дню, и несомненно, что чествование Пушкина примет там грандиозные размеры. Москве и Ленинграду есть что показать по Пушкину — и свои богатейшие собрания рукописей и предметов, и результаты своих работ по изучению Пушкина; Пушкинская юбилейная литература уже в прошлом 1936 году была значительна (достаточно назвать два юбилейные издания, начавшие выходить в этом году). Нет сомнения, что праздник Пушкина в России и в 1937 году будет таким же большим всероссийским, всенародным праздником, каким он был в 1899 году, и обнаружит еще большее проникновение Пушкина в самые широкие народные массы (об этом больше всего свидетельствуют миллионные тиражи налету расхватываемых сочинений Пушкина). Но по существу этот юбилей в России должен оказаться повторением прежних юбилеев и должен пройти под тем же знаком чествования Пушкина, как великого русского, народного поэта — попытки, которые делались одно время, представить Пушкина — свободнейшего и свободолюбивейшего поэта («Что в мой жестокий век восславил я свободу»), но и певца русской великодержавности и органического противника всякой революции, всякой насильственной социальной ломки традиций, которыми он свято дорожил («Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений», «Не приведи Бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды, и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка — полушка, да и своя шейка — копейка»), попытки представить Пушкина

как апостола и пророка русской социальной революции, попытки причислить аристократически-народного поэта, такого широкого и неукладывающегося ни в какие рамки, к своей партии, к своему лагерю, попытки эти потерпели полную неудачу, и добросовестность серьезных советских пушкинистов восторжествовала над искажающей подлинный лик Пушкина тенденцией.

Готовится к великому пушкинскому дню и зарубежная Россия. В ее распоряжении нет тех богатых средств и материалов, которыми располагает Советская Россия: нет или почти нет настоящих серьезных работников по Пушкину (все они наперечет, и пяти пальцев на одной руке слишком много, чтобы их пересчитать), нет музеев с громадными рукописными фондами Пушкина, нет картинных галерей с портретами Пушкина и его современников, нет Пушкинских Домов... Но кое-что есть. Есть живое чувство Пушкина и живая любовь к нему, к «первой русской любви», есть какие-то материалы, позволившие к юбилею Пушкина выпустить несколько изданий с воспроизведением первостепенной важности неизданных рукописей Пушкина и его портретов, есть такие частные собрания, которые дают надежду, что Пушкинская выставка, устраиваемая, по инициативе пишущего эти строки, в Парижской Bibliothèque Nationale, будет значительной манифестацией Пушкина и его эпохи... Зарубежная Россия образовала 85 Комитетов*), возглавляемых центральным парижским Пушкинским Комитетом, нашедшим возможности отметить юбилей критически проверенным изданием сочинений Пушкина... Устраиваются пушкинские собрания, выставки, пушкинские вечера и концерты, создаются и ставятся новые балеты на пушкинские сюжеты, пишутся новые музыкальные произведения на слова Пушкина... Но главное в европейско-русских пушкинских торжествах заключается не в этом — главное, самое главное и важное в том, что чествование Пушкина во всех концах мира — во Франции, в Италии, в Германии, в Англии, в Америке, в Китае, в 37 странах света — устраивается не одними русскими и не для одних русских, а совместно со всеми культурными и цивилизованными народами и для всех культурных народов мира. Важно не то, сколько русских представителей входит в Пушкинский Комитет, важно, что в нем находятся 9 французских академиков; важно, что Пушкинское чествование устраивается Сорбонной, что Пушкинскую выставку организует Bibliothèque Nationale, что три европейские Академии чествуют величайшего русского гения, что французская Opera

*) В феврале 1937 г., число комитетов возросло до 166.

дает оперы на пушкинские сюжеты, что радио-станции во многих странах передают во все концы мира праздник Пушкина.

Начинают исполняться пророческие слова Пушкина:

И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

Третий праздник Пушкина — 1937 года — происходит уже не только в России, но и в Европе, и во всем мире, — и в этом его отличие от всех предшествовавших пушкинских праздников, в этом его новое, — он проходит под знаком чествования Пушкина уже не только как великого русского национального поэта, но великого мирового поэта, всемирного гения, мировое значение которого и должен выявить праздник 1937 года. Европа еще не знает как следует Пушкина, но она уже поверила в то, что в России был и есть свой гений, достойный занять место рядом с другими великими мировыми гениями. И этого достаточно: сейчас Европа верит в это, а нынешний праздник, который возбудит интерес и внимание к нему, заставит ее полюбить и узнать Пушкина. В этом и заключается значение праздников-юбилеев, что они являются толчками к будущей работе. Так было и с юбилеем 1899 г., после которого началось настоящее изучение Пушкина в России, так будет и с юбилеем 1937 года — имя Пушкина будет славно, «доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит».

Париж. Январь, 1937 г.

Сергей Лифарь.

ON FETE LE CENTENAIRE D'UN GENIE ROMANTIQUE



APRÈS UNE VIE D'AMOUR *MOURUT EN DUEL* POUR DÉFENDRE *L'HONNEUR DE SA FEMME*

PAR
SERGE
LIFAR

Son Excellence le comte Miloradovitch demande à être introduit auprès de Votre Majesté

Alexandre Ier, tsar de toutes les Russies, assis devant son bureau, étudiait une carte d'état-major. Il releva la tête et dit :

— Qu'il entre.

L'ordonnance disparut. Quelques instants après, il reparut, pour s'effacer au passage du comte Miloradovitch, général gouverneur de Saint-Pétersbourg.

— Qu'as-tu de neuf à me dire, comte ? demanda le tsar en lui serrant cordialement la main.

— Votre Majesté, j'ai eu, hier, la visite de Pouchkine et j'ai tenu à vous en faire part.

— Pouchkine, le poète ? Mais il n'est donc pas arrêté ?

— Non, Votre Majesté. Bien que vous m'ayez donné l'ordre de me saisir de lui et de ses papiers, j'ai cru devoir passer outre. Il m'a semblé, en effet, plus habile de l'inviter chez moi et de lui parler. Ah ! sire, ce Pouchkine est un homme admirable. Jugez : *il paraît chez moi, le visage* calme et souriant. Je lui parle de ses papiers, je lui ordonne de me livrer ses poésies politiques.

— Comte, c'est inutile, me répond-il, je les ai toutes brûlées et on ne trouverait rien chez moi. Mais toutes sont gravées ici (ce disant, il me montre son front). Veuillez ordonner qu'on me donne du papier et j'écrirai tout ce que j'ai composé, à l'exception, bien entendu, de ce qui a été publié. Je vous dirai en outre ce qui est de moi et ce que l'on fait circuler sous mon nom.

Je fais apporter du papier. Pouchkine s'assied à ma table, et écrit... tout un cahier. Le voilà, d'ailleurs.

Le tsar s'empressa de prendre le cahier.

— Non, sire, il vaudrait mieux ne pas le lire ! Autant l'homme est magnifique, autant ses vers sont épouvantables.

Alexandre sourit :

— Bon ! Mais qu'as-tu fait de l'auteur ?

— *Sire, j'ai été si ému par sa franchise* que je me suis empressé de lui annoncer la grâce de Votre Majesté.

L'empereur fronça les sourcils.

— N'est-ce pas aller un peu vite en besogne ? Pardonner à un homme qui mérite la Sibérie ou le couvent de Solovetzk.

— Sire, je suis peut-être coupable, mais, en toute sincérité, il m'était impossible d'agir autrement. D'ailleurs, si Votre Majesté...

— Bon, bon ! Ce qui est fait est fait. Nous nous arrangerons autrement. Qu'on envoie donc ce Pouchkine en voyage, dans le Midi, par exemple, avec un grade en conséquence, et l'obligation pour lui d'observer toute la convenance possible. Qu'on lui paie aussi ses frais de déplacement.

— Me permettrai-je de faire une suggestion à Votre Majesté ?

— Je t'écoute.

— Envoyons Pouchkine chez le général Inzov. C'est un brave homme, un fidèle sujet de Votre Majesté, un peu vieux, sans doute, mais il sera pour Pouchkine un compagnon agréable, et je suis sûr qu'il saura lui inculquer d'excellents préceptes.

— Qu'il en soit ainsi, répondit le tsar.

L'audience était close.

Les sauterelles sont venues...

Odessa, ville de soleil sur la mer Noire...

— Eh bien ! monsieur Pouchkine, vous voilà assis à la terrasse d'un café au lieu d'être au bureau ? Son Excellence, M. le comte, est très fâchée, elle m'a ordonné d'aller vous retrouver à tout prix. Je viens de passer chez vous, mais vous n'y étiez pas. Son Excellence vous demande de venir sur-le-champ et d'apporter votre rapport sur les dégâts causés par les nuées de sauterelles.

Maussade, Pouchkine se lève et suit l'émissaire. Les voilà bientôt devant Son Excellence le comte Vorontzoff, gouverneur de la Nouvelle Russie. L'accueil de celui-ci est réservé, hautain, bien que parfaitement courtois — Son Excellence ayant des doutes, fort justifiés d'ailleurs, sur les rapports de Pouchkine avec Mme la comtesse.

— Monsieur Pouchkine, je suis obligé de vous faire un dernier avertissement. Vous êtes libre d'écrire des vers à vos heures de repos, mais j'exige que, comme tout le monde, vous soyez à mon bureau durant les heures de présence. Je vous demande d'être un fonctionnaire honnête et consciencieux. On vous paye pour travailler et non pas pour vous promener.

— Excellence, vous savez aussi bien que moi que je suis fonctionnaire contre mon gré et que mes appointements sont, à mes yeux, la ration du bagnard en exil.

— Vous pouvez croire tout ce que vous voudrez. Je ne vous en forcerai pas moins à remplir consciencieusement vos fonctions. Au fait, quand vais-je avoir enfin votre rapport sur les dégâts causés par les nuées de sauterelles dans le Midi ?

— Le voici, Excellence.

Pouchkine tendit au comte un cahier assez volumineux.

— Suis-je libre, à présent, Excellence ?

— Allez, et dites à Kaznatchef de vous donner la copie des relations du ministère pour le mois passé.

Une fois sorti du cabinet du gouverneur, Pouchkine se rendit en hâte sur le bord de la mer.

Resté seul, le comte Vorontzoff commença à feuilleter le rapport de Pouchkine. Au fur et à mesure que les pages se succédaient, le visage du comte devenait de plus en plus écarlate.

Sur la première page, il y avait, en gros caractères : « Les sauterelles sont venues ».

Puis, sur les huit suivantes se succédaient toujours : « venues, venues, venues », etc...

Sur la onzième et les dix suivantes : « Se sont posées, posées », etc...

Puis, sur une douzaine de pages : « Ont tout mangé, mangé », etc...

Enfin, sur la dernière : « Et sont reparties »...

Rouge *comme une pivoine, le comte* agita la sonnette posée sur son bureau.

— Qu'on fasse venir Pouchkine ! Immédiatement.

— Votre Excellence, Pouchkine n'est déjà plus à son bureau.

. . . .

Le secrétaire du comte Vorontzoff — et son favori — parut sur le seuil.

— Votre Excellence, vous vouliez vous débarrasser de Pouchkine. Je crois que cette fois-ci ma filature n'aura pas été vaine. J'ai là de quoi le faire envoyer au monastère Solovetzk, et il ne l'aura pas volé. C'est une lettre que j'ai fait intercepter à la poste. Veuillez la lire, Excellence.

« Tu veux savoir ce que je fais : j'écris les strophes d'un roman poétique et je prends des leçons de pur athéisme. Il y a ici un Anglais philosophe et sourd, qui est le seul athée intelligent que j'aie jamais rencontré. Il a barbouillé mille pages pour prouver qu'il ne peut exister d'être intelligent créateur et régulateur. Il supprime ainsi les faibles preuves de l'immortalité de l'âme. Théorie peu consolante, quoi qu'on en dise, mais malheureusement fort probable. »

Les contes de sa niania

Il fait triste et froid en ce village lointain du gouvernement de Pskov. La rivière *et le lac sont gelés, la neige a recou*vert d'une nappe blanche, immense, infinie, les vallons et les prés, elle a tapissé la base des arbres et s'étend à perte de vue. Le jour se lève tard et il fait nuit à partir de trois heures, une nuit morne et profonde. La grande maison de Mikhaïlovskoé paraît assoupie. Pendant l'été, ses murs retentissaient de voix jeunes et joyeuses : à présent, c'est l'hiver, on y tremble de froid. La bâtisse n'est pas chauffée, le moindre feu qu'on y allume remplit les pièces d'une fumée âcre ; on y étouffe et, la gorge serrée, on doit ouvrir portes et fenêtres pour y laisser pénétrer le froid du dehors. Pouchkine y habite seul. Dans le silence, s'élève seulement, parfois, le bruit de voix étouffées provenant de la pièce où travaillent de jeunes serves.

Pouchkine est assis à son bureau. *Boris Godounov*, sublime production de son génie poétique, est terminé. Un an durant, *il y a travaillé, possédé par la fièvre créatrice* : à peine la plume en main, les rimes accouraient en foule, légères et ailées, les vers coulaient librement. Ce drame est terminé, copié et recopié. Pouchkine, après avoir attendu avec anxiété cet instant sublime, ne ressent plus désormais qu'un ennui morne et de l'amertume. Son âme est vide, il a épuisé son inspiration. Que faire ? Lire ? La bibliothèque n'a plus de secret pour lui. Aller chez ses voisins ? A quoi bon ! Il n'est plus capable d'entendre les soupirs et les reproches de la fille, laide et vieille avant l'âge, la quatre-vingt-troisième victoire de sa liste de don Juan, à qui, dans un moment de lassitude, il a parlé d'amour, il ne peut non plus tenir compagnie à la mère qui, avec des minauderies de vieille coquette, disserte indéfiniment sur les choses de l'amour. Au diable tout cela !

Pouchkine sort et va frapper à la porte d'un petit bâtiment qui se dresse à l'écart. Une seule chambre à l'intérieur : celle de sa nourrice. La brave *niania* s'agite en voyant entrer son maître. Elle devrait pourtant être habituée à ses visites.

— Ah ! c'est encore toi, mon petit faucon ! Tu viens écouter les contes de ta *niania* !

La vieille nourrice commence à raconter de vieilles légendes populaires, transmises de bouche en bouche depuis des siècles. De temps à autre, elle s'arrête pour avaler une gorgée de vodka et en offrir au *poète, qui écoute avec attention. Puis,* peu à peu, le sommeil gagne la pauvre vieille, son nez devient de plus en plus rouge, elle bredouille et, finalement, s'endort.

Natacha

Pouchkine à Moscou...

Il vient à peine d'arriver de Saint-Pétersbourg, le cœur troublé au seul souvenir du charmant petit pied d'Annette Olenina. La belle Annette lui a quasiment tourné la tête, il ne songe même plus à la comtesse Zakrevskaïa, cette Vénus de bronze, cette Cléopâtre de la Néva, terriblement sensuelle, ni à Katenka Véliacheva, cette jeune campagnarde, dont les charmes lui offraient pourtant une victoire bien facile. C'est que le poète s'est assagi, car son rêve se plaît à changer le nom d'Annette Olenina en celui d'Annette Pouchkine. Tandis que la diligence filait à bonne allure sur une surface étincelante de neige fraîchement tombée, il n'a fait qu'écrire des vers, tout un cahier consacré à l'Ange de Raphaël et à un petit pied mignon.

A peine débarqué, Pouchkine fut pressé de s'habiller pour se rendre à un grand bal dont l'éclat promettait d'être rehaussé par la présence de Sa Majesté Nicolas Ier.

...Dans la salle, à quelques pas du tsar, une jeune fille se tenait. Elle pouvait avoir seize ans à peine. Pouchkine la vit, et dès lors, rien n'exista plus pour lui. Annette, le bal, le tsar, tout fut oublié, voilé, *éclipsé par sa beauté surhumaine.* Elle était visiblement intimidée par les regards un peu trop attentifs, peut-être, dont Sa Majesté ne se privait pas de l'honorer, ainsi que par le feu qui se lisait dans ceux de Pouchkine, ardemment fixés sur elle.

— Il faut que vous soyez bien perdu dans la contemplation de ma Natalie, pour que vous ne daigniez même pas faire attention à moi !

La voix de la princesse Dolgoroukov ramène Pouchkine aux réalités terrestres.

— Je vous comprends, d'ailleurs, parfaitement. Elle est purement adorable, c'est une très bonne enfant. Voyez comme elle se tient, quel air noble, aristocratique, pas le moindre soupçon de vulgarité ou de coquetterie à bon marché...

La princesse s'interrompit elle-même :

— Voulez-vous, Pouchkine, que j'aille vous présenter à Natacha et à sa mère ? Je crois que vous devriez faire un très bon mari pour elle. Natacha, c'est notre plus pure beauté romantique, vous, vous êtes le premier poète romantique de notre temps... Quoi de mieux ?

— Moi ? Laid comme je suis, épouser cette Madone ? Vous raillez, princesse ! Vulcain demandant la main de Vénus ! Mais tout le monde va se moquer de moi ! Et je suis sûr qu'elle ne voudra même pas me regarder...

— Vous vous trompez, mon cher Pouchkine. Elle sera heureuse de devenir votre femme. Votre célébrité et son désir de *fuir sa famille, qui est un enfer véritable,* voilà deux arguments étrangement puissants en votre faveur. Croyez-vous donc que la vie lui soit douce, entre un père devenu fou et une mère, fausse dévote, qui se saoule de vodka à longueur de jour et va s'acoquiner avec ses palefreniers... Je suis sûre que vous allez déplaire à Mme Gontcharova ; elle ne vous en accordera pas moins la main de sa fille pour s'en débarrasser, pour être plus libre... Elles font semblant d'être riches, en réalité, elles n'ont pas le sou. J'ai dû prêter à Natacha mes chaussures et mes gants pour qu'elle puisse venir à ce bal.

Pouchkine, sans en entendre davantage, s'éloigna. Il avait aperçu son ami, le comte Tolstoï, et s'était précipité sur lui, sans même lui dire bonjour :

— Vous qui connaissez les Gontcharov, soyez mon bienfaiteur, allez demander la main de Natacha pour moi !

Pouchkine et le tsar

Madame,

J'ai été obligé de quitter Moscou pour éviter des tracasseries qui, à la longue, pouvaient compromettre plus que mon repos ; on me dépeignait à ma femme comme un homme odieux, avide, un vil usurier, on lui disait : « Vous êtes une sotte de permettre à votre mari, etc... » Vous m'avouerez que c'était prêcher le divorce. Une femme ne peut décemment se laisser dire que son mari est un infâme, et le devoir de la mienne est de se soumettre à ce que je me permets. Ce n'est pas à une femme de 18 ans de gouverner un homme de 32. J'ai fait preuve de patience et de délicatesse, mais il paraît que l'une et l'autre sont duperie. J'aime mon repos et je saurai me l'assurer.

Je suis, avec le respect le plus profond, Madame, votre très humble et très obéissant serviteur.

Alexandre Pouchkine

Cette lettre est écrite de Tsarskoïé-Sélo, où Pouchkine et sa jeune femme sont venus chercher la paix et la solitude, loin des tracas du monde, loin de la belle-mère, dans une atmosphère qui rappelle au poète les doux souvenirs de lycée.

Solitude idyllique, mais, hélas ! éphémère et relative. La capitale n'est qu'à quelques lieues et voici que, deux mois après Pouchkine, toute la cour vient s'installer à Tsarskoïé-Sélo. Dès lors, adieu quiétude. « Tsarskoïé-Sélo s'anime et devient une autre capitale ». Les Pouchkine *sont de nouveau emportés dans le tour*billon de la vie mondaine.

Par sa beauté, Nathalie Pouchkine produisait une grosse impression sur le tsar, qui en tomba éperdument amoureux.. Il fit venir son mari. « Puisqu'il est marié, il faut faire marcher sa marmite », avait-il dit à Joukovski.

Sa Majesté reçut Pouchkine avec une amabilité rare et le combla de flatteries.

— Dis-moi, Pouchkine, pourquoi te tiens-tu toujours à l'écart. On dirait que tu me fuis. Et pourtant, Dieu sait si j'ai besoin de gens doués comme toi pour m'aider dans ma tâche qui est de faire de la Russie un pays grand, heureux et cultivé.

— Votre Majesté, vous servir serait ma plus grande joie, mais je suis écrivain et si je puis être utile au pays, c'est seulement par ma plume.

— Crois-tu donc que je veuille t'imposer quelque autre emploi ? Loin de moi l'idée de faire de toi un fonctionnaire, laissons les paperasses aux ronds-de-cuir. J'attends beaucoup mieux de ton génie poétique. Songes-y et dis-moi ce qu'il te plairait de faire. Il faut que tu puisses créer librement, débarrassé de tous les soucis mesquins de l'existence.

— Votre Majesté, je deviendrais volontiers rédacteur en chef d'un journal politique et littéraire. J'y convierais nos personnalités les plus marquantes. Elles travailleraient de la sorte pour le bien du pays et ne pourraient plus vous accuser d'être l'adversaire de la culture russe.

— L'idée est très bonne, je la retiens et nous en reparlerons. J'ai peur toutefois que la *rédaction d'un journal* ne t'enlève la majeure partie d'un temps fort précieux et ne te cause trop de soucis.

— En ce cas, Votre Majesté, j'aurais voulu qu'il me fût permis de me livrer à des recherches historiques dans les archives de l'Empire. Sans oser prétendre au titre d'historiographe de votre dynastie, apanage de notre regretté Karamzine, je me permets de vous dire que j'aurais pris le plaisir le plus vif à écrire une his*toire de nos Tsars, depuis Pierre-le-Grand,* jusqu'à Pierre III.

— Fort bien ! Je te charge, dès demain, d'une telle mission, avec des appointements annuels de 5.000 roubles. Je vais donner l'ordre de mettre les archives à ton entière disposition. Fouilles-y tant que tu voudras. Je suis sûr que tu sauras écrire une histoire de Pierre-le-Grand, digne de mon aïeul.

La lettre anonyme

— Alexandre Sergueïévitch, je viens de recevoir une lettre pour vous..., dit le comte Sologoub, jeune poète et fervent admirateur de Pouchkine, en entrant dans le cabinet de travail de son ami. Il s'arrêta net. Pouchkine paraissait être dans un état de surexcitation étrange, son visage était défiguré par la rage. Il se précipita sur la lettre que Sologoub tenait en main, la froissa et la jeta dans la corbeille à papier, sans même la décacheter.

— Ma conduite vous surprend ?... Je sais ce que vous m'avez apporté. J'ai déjà reçu plusieurs de ces lettres. C'est une infamie dirigée contre ma femme. Au fond, j'ai peut-être tort de me mettre en colère, une lettre anonyme ne vaut même pas la peine qu'on y fasse attention. Si quelqu'un vous crache dessus par derrière, c'est à votre domestique, et non à vous, d'enlever la tache ! Ma femme est un ange à l'abri de tout soupçon !

Sologoub ne comprenait rien à ce discours. Il fixait Pouchkine avec une surprise évidente.

— Vous ne comprenez sans doute pas de quoi il s'agit... Lisez ça, c'est une lettre anonyme que j'ai reçue ce matin par la poste.

Sologoub prit le papier et lut :

« Les Grand-Croix, Commandeurs et Chevaliers du Sérénissime Ordre des Cocus, réunis en grand chapitre sous la présidence du vénérable grand maître de l'Ordre, S.E.O.L. Narychkine, ont nommé à l'unanimité M. Alexandre Pouchkine, coadjuteur du grand-maître de l'Ordre des Cocus et historiographe de l'Ordre.

« Le secrétaire perpétuel : Comte Y. Borch ».

— Les salauds ! Coadjuteur de Narychkine, vous entendez ! Votre femme est la maîtresse du tsar Nicolas, comme celle de Narychkine fut la maîtresse de son frère Alexandre Ier. Ils savent, pourtant, comme vous et moi que Nathalie est irréprochable ! Cela ne les empêche pas, depuis trois ans, de poursuivre leur campagne infâme ! Quelle engeance ! Nous avons de quoi être fiers : l'épouse de notre ministre des Affaires étrangères passe son temps à tisser des intrigues et à répandre des calomnies sur le compte de ma femme, qu'elle déteste, et sur celui de notre tsar, qu'elle adore. Le tsar a courtisé ma femme, il a tout fait pour l'avoir. J'en suis fier si vous voulez, je tire vanité de la constance de Nathalie à ne pas lui céder.

Sologoub l'avait laissé parler sans l'interrompre.

— Ces canailles de Nesselrode et d'Ouvaroff ont décidé d'empoisonner mon existence. Depuis quatre ans déjà, je vis dans une atmosphère de lettres anonymes et de dénonciations. J'en étouffe. Voilà maintenant qu'ils font passer Nathalie pour la maîtresse de d'Anthès, cet infâme petit chouan, ce « chéri » des femmes. Il leur faut à tout prix compromettre Nathalie. D'Anthès, ce gigolo en tenue de Chevalier des Gardes, lui fait la cour depuis deux ans, et quelle cour ! Il se dit amoureux d'elle. Pensez-vous, il a besoin, pour sa carrière, de courtiser à grand renfort de tapage une personne en vue et de se faire passer pour l'amant de la plus belle femme de Russie.

A mesure qu'il parlait, Pouchkine était de plus en plus excité. On voyait à quel *point* il en avait assez de toutes les calomnies que l'on répandait sur son compte et sur celui de sa femme. Sologoub tâcha, en vain, de le calmer.

— Mais vous allez voir maintenant.

Les yeux de Pouchkine s'étaient injectés de sang. Il était terrible à voir.

— C'est fort heureux que vous soyez venu. J'ai décidé de provoquer d'Anthès en duel et je vous demande d'être mon témoin.

— Calmez-vous, Alexandre Sergueïévitch. Il ne faut pas se laisser emporter de la sorte à cause d'une lettre anonyme. Vos amis savent, aussi bien que vous, que votre femme est irréprochable. Que vous faut-il de plus ? Ne vous occupez pas de la calomnie.

— Non, c'est impossible. J'appartiens à la Russie. Il est inadmissible que l'ombre d'un soupçon puisse peser sur l'honneur de ma femme, la femme de César. D'ailleurs, vous devez comprendre que c'est le seul moyen d'en finir, une fois pour toutes, avec la calomnie et les calomniateurs.

Sa décision prise, Pouchkine parut se calmer et s'entretint avec son ami d'affaires littéraires avec une sérénité parfaite, comme si rien ne s'était passé.

Le duel dans la neige

Le 8 février 1837, deux traîneaux s'arrêtaient, presque en même temps, dans un sous-bois, auprès de la villa du commandant, sur les berges de la rivière Tchernaïa. L'un portait Pouchkine et son second Danzas, l'autre, d'Anthès et son témoin d'Archiac. Les quatre hommes descendirent et s'engagèrent dans un sentier, à l'écart de la route. Il y avait de la neige jusqu'aux genoux. Après avoir choisi un endroit convenable, les deux témoins et d'Anthès aménagèrent un espace large d'un mètre et long de vingt pieds, tandis que Pouchkine, assis sur un tas de neige, suivait les préparatifs funestes avec la plus entière indifférence. Il fut décidé que les deux adversaires tireraient à dix pas l'un de l'autre. Quand Danzas agita son chapeau, ils se placèrent à cinq pas de leur limite respective, marquée par des manteaux, et avancèrent. A peine Pouchkine eut-il atteint l'endroit qui lui était fixé que son adversaire fit feu. Le poète tomba sur le manteau et son pistolet, lui glissant de la main, s'incrusta dans la neige, à tel point que le canon en fut rempli.

— Je suis blessé, s'écria-t-il.

Comme d'Anthès s'approchait, il ajouta :

— Ne bougez pas. Je me sens assez fort pour tirer mon coup.

Danzas lui présenta un autre pistolet. *Alors, toujours couché,* s'appuyant sur son bras gauche, il visa, tira, et d'Anthès tomba à son tour. Mais celui-ci n'était blessé que légèrement, la balle avait simplement traversé les parties charnues du bras droit. Un bouton avait sauvé d'Anthès.

— Bravo ! s'écria Pouchkine, en voyant son adversaire s'affaisser, et il lança son pistolet.

Hélas, le poète était gravement atteint ; *il s'évanouit.* Quand il revint à lui, sa première question à d'Archiac fut :

— L'ai-je tué ?

— Non, riposta l'autre, mais vous l'avez blessé.

— C'est curieux, je pensais que j'aurais du plaisir à le tuer. Je constate que ce n'est pas le cas. Au reste, cela n'a pas d'importance, dès que nous serons rétablis, nous recommencerons !

Le sang coulait de la blessure. Il fallut soulever le blessé. Comme il était impossible de le porter à bras jusqu'au traîneau, on fit avancer celui-ci, après avoir démoli la palissade. Arrivés sur la route, on étendit Pouchkine dans la voiture de d'Anthès qui attendait ; Danzas prit place à ses côtés.

Pendant le trajet, Pouchkine ne semblait pas souffrir, du moins Danzas ne s'en aperçut pas, car il était gai, plaisantait et racontait des anecdotes.

Il était six heures, quand *ils arrivèrent* à la maison. Le valet de chambre, accouru, prit le blessé dans ses bras et le monta dans sa chambre.

— Tu es triste de me porter ! balbutia Pouchkine.

Sa femme était dans le vestibule, elle tomba sans connaissance quand elle le vit dans cet état...

Deux jours après, 10 février 1837, celui qui fut un des plus grands poètes de la Russie, expirait, victime de la calomnie et des lettres anonymes.

World copyright by Serge Lifar and *Paris-soir Dimanche* 1937.

La belle Nathalie Pouchkine sur qui une rivale jalouse s'acharna jusqu'au drame



Pouchkine mortellement blessé est emmené jusqu'à son traîneau par ses témoins.

Статья С. Лифаря о Пушкине.

Paris-soir. Dimanche, 7 janvier 1937.

On fête le centenaire d'un génie romantique POUCHKINE

APRES UNE VIE D'AMOUR, MOURUT EN DUEL POUR DEFENDRE L'HONNEUR DE SA FEMME

par

SERGE LIFAR

— Son Excellence le comte Miloradovitch demande à être introduit auprès de Votre Majesté.

Alexandre Ier, tsar de toutes les Russies, assis devant son bureau, étudiait une carte d'état-major. Il releva la tête et dit :

— Qu'il entre.

L'ordonnance disparut. Quelques instants après, il reparut, pour s'effacer au passage du comte Miloradovitch, général gouverneur de Saint-Pétersbourg.

— Qu'as-tu de neuf à me dire, comte ? demanda le tsar en lui serrant cordialement la main.

— Votre Majesté, j'ai eu, hier, la visite de Pouchkine et j'ai tenu à vous en faire part.

— Pouchkine, le poète ? Mais il n'est donc par arrêté ?

— Non, Votre Majesté. Bien que vous m'ayez donné l'ordre de me saisir de lui et de ses papiers, j'ai cru devoir passer outre. Il m'a semblé, en effet, plus habile de l'inviter chez moi et de lui parler. Ah ! sire, ce Pouchkine est un homme admirable. Jugez : il paraît chez moi, le visage calme et souriant. Je lui parle de ses papiers, je lui ordonne de me livrer ses poésies politiques.

— Comte, c'est inutile, je les ai toutes brûlées et on ne trouverait rien chez moi. Mais toutes sont gravées ici (ce disant, il me montre son front). Veuillez ordonner qu'on me donne du papier

et j'écrirai tout ce que j'ai composé, à l'exception, bien entendu, de ce qui a été publié. Je vous dirai en outre ce qui est de moi et ce que l'on fait circuler sous mon nom.

Le tsar s'empressa de prendre le cahier.

— Non, sire, il vaudrait mieux ne pas le lire ! Autant l'homme est magnifique, autant ses vers sont épouvantables.

Alexandre sourit :

— Bon ! Mais qu'as-tu fait de l'auteur ?

— Sire, j'ai été si ému par sa franchise que je me suis empressé de lui annoncer la grâce de Votre Majesté.

L'empereur fronça les sourcils :

— N'est-ce pas aller un peu vite en besogne ? Pardonner à un homme qui mérite la Sibérie ou le couvent de Solovetzk.

— Sire, je suis peut-être coupable, mais, en toute sincérité, il m'était impossible d'agir autrement. D'ailleurs, si Votre Majesté...

— Bon, bon ! Ce qui est fait est fait. Nous nous arrangerons autrement. Qu'on envoie donc ce Pouchkine en voyage, dans le Midi, par exemple, avec un grade en conséquence, et l'obligation pour lui d'observer toute la convenance possible. Qu'on lui paie aussi ses frais de déplacement.

— Me permettrai-je de faire une suggestion à Votre Majesté ?

— Je t'écoute.

— Envoyons Pouchkine chez le général Inzov. C'est un brave homme, un fidèle sujet de Votre Majesté, un peu vieux, sans doute, mais il sera pour Pouchkine un compagnon agréable, et je suis sûr qu'il saura lui inculquer d'excellents préceptes.

— Qu'il en soit ainsi, répondit le tsar.

L'audience était close.

LES SAUTERELLES SONT VENUES...

Odessa, ville de soleil sur la mer Noire...

— Eh bien ! monsieur Pouchkine, vous voilà assis à la terrasse d'un café au lieu d'être au bureau ? Son Excellence, M. le comte, est très fâchée, elle m'a ordonné d'aller vous retrouver à tout prix. Je viens de passez chez vous, mais vous n'y étiez pas. Son Excellence vous demande de venir sur-le-champ et d'apporter votre rapport sur les dégâts causés par les nuées de sauterelles.

Maussade, Pouchkine se lève et suit l'émissaire. Les voilà bientôt devant Son Excellence le comte Vorontzoff, gouverneur de

la Nouvelle Russie. L'accueil de celui-ci est réservé, hautain, bien que parfaitement courtois — Son Excellence ayant des doutes, fort justifiés d'ailleurs, sur les rapports de Pouchkine avec Mme la comtesse.

— Monsieur Pouchkine, je suis obligé de vous faire un dernier avertissement. Vous êtes libre d'écrire des vers à vos heures de repos, mais j'exige que, comme tout le monde, vous soyez à mon bureau durant les heures de présence. Je vous demande d'être un fonctionnaire honnête et consciencieux. On vous paye pour travailler et non pas pour vous promener.

— Excellence, vous savez aussi bien que moi que je suis fonctionnaire contre mon gré et que mes appointements sont, à mes yeux, la ration du bagnard en exil.

— Vous pouvez croire tout ce que vous voudrez. Je ne vous en forcerai pas moins à remplir consciencieusement vos fonctions. Au fait, quand vais-je avoir enfin votre rapport sur les dégâts causés par les nuées de sauterelles dans le Midi ?

— Le voici, Excellence.

Pouchkine tendit au comte un cahier assez volumineux.

— Suis-je libre, à présent, Excellence ?

— Allez, et dites à Kaznatcheef de vous donner la copie des relations du ministère pour le mois passé.

Une fois sorti du cabinet du gouverneur, Pouchkine se rendit en hâte... sur le bord de la mer.

Resté seul, le comte Vorontzoff commença à feuilleter le rapport de Pouchkine. Au fur et à mesure que les pages se succédaient, le visage du comte devenait de plus en plus écarlate.

Sur la première page, il y avait, en gros caractères : « Les sauterelles sont venues ».

Puis, sur les huit suivantes se succédaient toujours : « venues, venues, venues », etc...

Sur la onzière et les dix suivantes : « Se sont posées, posées, etc...

Puis, sur une douzaine de pages : « Ont tout mangé, mangé », etc...

Enfin, sur la dernière : « Et sont reparties »...

Rouge comme une pivoine, le comte agita la sonnette posée sur son bureau.

— Qu'on fasse venir Pouchkine ! Immédiatement.

— Votre Excellence, Pouchkine n'est déjà plus à son bureau.

. . . .

Le secrétaire du comte Vorontzoff — et son favori — parut sur le seuil.

— Votre Excellence, vous vouliez vous débarrasser de Pouchkine. Je crois que cette fois-ci ma filature n'aura pas été vaine. J'ai là de quoi le faire envoyer au monastère Solovetzk, et il ne l'aura pas volé. C'est une lettre que j'ai fait intercepter à la poste. Veuillez la lire, Excellence.

« Tu veux savoir ce que je fais : j'écris les strophes d'un roman poétique et je prends des leçons de pur athéisme. Il y a ici un Anglais philosophe et sourd, qui est le seul athée intelligent que j'aie jamais rencontré. Il a barbouillé mille pages pour prouver qu'il ne peut exister d'être intelligent créateur et régulateur. Il supprime ainsi les faibles preuves de l'immortalité de l'âme. Théorie peu consolante, quoi qu'on en dise, mais malheureusement fort probable. »

LES CONTES DE SA NIANIA

Il fait triste et froid en ce village lointain du gouvernement de Pskov. La rivière et le lac sont gelés, la neige a recouvert d'une nappe blanche, immense, infinie, les vallons et les prés, elle a tapissé la base des arbres et s'étend à perte de vue. Le jour se lève tard et il fait nuit à partir de trois heures, une nuit morne et profonde. La grande maison de Mikhaïlovskoé paraît assoupie. Pendant l'été, ses murs retentissaient de voix jeunes et joyeuses ; à présent, c'est l'hiver, on y tremble de froid. La bâtisse n'est pas chauffée, le moindre feu qu'on y allume remplit les pièces d'une fumée âcre ; on y étouffe et, la gorge serrée, on doit ouvrir portes et fenêtres pour y laisser pénétrer le froid du dehors. Pouchkine y habite seul. Dans le silence, s'élève seulement, parfois, le bruit de voix étouffées provenant de la pièce où travaillent de jeunes serves.

Pouchkine est assis à son bureau. « Boris Godounov », sublime production de son génie poétique, est terminé. Un an durant, il y a travaillé, possédé par la fièvre créatrice : à peine la plume en main, les rimes accouraient en foule, légères et ailées, les vers coulaient librement. Ce drame est terminé, copié et recopié. Pouchkine, après avoir attendu avec anxiété cet instant sublime, ne ressent plus désormais qu'un ennui morne et de l'amertume. Son âme est vide, il a épuisé son inspiration. Que faire ? Lire ? La bibliothèque n'a plus de secret pour lui. Allez chez ses voisins ? A quoi bon ! Il n'est plus capable d'entendre les soupirs et les reproches de la fille, laide et vieillie avant l'âge, la quatrevingt-troisième victoire de sa liste de don Juan, à qui, dans un moment de lassitude, il a

parlé d'amour, il ne peut plus tenir compagnie à la mère qui, avec des minauderies de vieille coquette, disserte indéfiniment sur les choses de l'amour. Au diable tout cela !

Pouchkine sort et va frapper à la porte d'un petit bâtiment qui se dresse à l'écart. Une seule chambre à l'intérieur : celle de sa nourrice. La brave « niania » s'agite en voyant entrer son maître. Elle devrait pourtant être habituée à ses visites.

— Ah ! c'est encore toi, mon petit faucon ! Tu viens écouter les contes de ta niania ?

La vieille nourrice commence à raconter de vieilles légendes populaires, transmises de bouche depuis des siècles. De temps à autre, elle s'arrête pour avaler une gorgée de vodka et en offrir au poète, qui écoute avec attention. Puis, peu à peu, le sommeil gagne la pauvre vieille, son nez devient de plus en plus rouge, elle bredouille et, finalement, s'endort.

NATACHA

Pouchkine à Moscou...

Il vient à peine d'arriver de Saint-Pétersbourg, le cœur troublé au seul souvenir du charmant petit pied d'Annette Olenina. La belle Annette lui a quasiment tourné la tête, il ne songe même plus à la comtesse Zakrevskaïa, cette Vénus de bronze, cette Cléopâtre de la Néva, terriblement sensuelle, ni à Katenka Véliacheva, cette jeune campagnarde, dont les charmes lui offraient pourtant une victoire bien facile. C'est que le poète s'est assagi, car son rêve se plaît à changer le nom d'Annette Olenina en celui d'Annette Pouchkine. Tandis que la diligence filait à bonne allure sur une surface étincelante de neige fraîchement tombée, il n'a fait qu'écrire des vers, tout un cahier consacré à l'Ange de Raphaël et à un petit pied mignon.

A peine débarqué, Pouchkine fut pressé de s'habiller pour se rendre à un grand bal dont l'éclat promettait d'être rehaussé par la présence de Sa Majesté Nicolas Ier.

... Dans la salle, à quelques pas du tsar, une jeune fille se tenait. Elle pouvait avoir seize ans à peine. Pouchkine la vit, et dès lors, rien n'exista plus pour lui. Annette, le bal, le tsar, tout fut oublié, voilé, éclipsé par sa beauté surhumaine. Elle était visiblement intimidée par les regards un peu trop attentifs, peut-être, dont Sa Majesté ne se privait pas de l'honorer, ainsi que par le feu qui se lisait dans ceux de Pouchkine, ardemment fixés sur elle.

— Il faut que vous soyez bien perdu dans la contemplation de

ma Nathalie, pour que vous ne daigniez même de faire attention à moi !

La voix de la princesse Dolgoroukov ramène Pouchkine aux réalités terrestres.

— Je vous comprends, d'ailleurs, parfaitement. Elle est purement adorable, c'est une très bonne enfant. Voyez comme elle se tient, quel air noble, aristocratique, pas le moindre soupçon de vulgarité ou de coquetterie à bon marché...

La princesse s'interrompit elle-même :

— Voulez-vous, Pouchkine, que j'aille vous présenter à Natacha et à sa mère ? Je crois que vous devriez faire un très bon mari pour elle. Natacha, c'est notre plus pure beauté romantique, vous, vous êtes le premier poète romantique de notre temps... Quoi de mieux ?

— Moi ? Laid comme je suis, épouser cette Madone ? Vous raillez, princesse ! Vulcain demandant la main de Vénus ! Mais tout le monde va se moquer de moi ! Et je suis sûr qu'elle ne voudra même pas me regarder...

— Vous vous trompez, mon cher Pouchkine. Elle sera heureuse de devenir votre femme. Votre célébrité et son désir de fuir sa famille, qui est un enfer véritable, voilà deux arguments étrangement puissants en votre faveur. Croyez-vous donc que la vie lui soit douce, entre un père devenu fou et une mère, fausse dévote, qui se saoule de vodka à longueur de jour et va s'acoquiner avec ses palefreniers... Je suis sûre que vous allez déplaire à Mme Gontcharova ; elle ne vous en accordera pas moins la main de sa fille pour s'en débarrasser, pour être plus libre... Elles font semblant d'être riches, en réalité, elles n'ont pas le sou. J'ai dû prêter à Natacha mes chaussures et mes gants pour qu'elle puisse venir à ce bal.

Pouchkine, sans en entendre davantage, s'éloigna. Il avait aperçu son ami, le comte Tolstoï, et s'était précipité sur lui, sans même lui dire bonjour :

— Vous qui connaissez les Gontcharov, soyez mon bienfaiteur, allez demander la main de Natacha pour moi !

POUCHKINE ET LE TSAR

Madame,

J'ai été obligé de quitter Moscou pour éviter des tracasseries qui, à la longue, pouvaient compromettre plus que mon repos ; on me dépeignait à ma femme comme un homme odieux, avide, un vil usurier, on lui disait : « Vous êtes une sotte de permettre à votre

mari, etc... ». Vous m'avouerez que c'était prêcher le divorce. Une femme ne peut décemment se laisser dire que son mari est un infâme, et le devoir de la mienne est de se soumettre à ce que je me permets. Ce n'est pas à une femme de 18 ans de gouverner un homme de 32 ans. J'ai fait preuve de patience et de délicatesse, mais il paraît que l'une et l'autre sont duperie. J'aime mon repos et je saurai me l'assurer.

Je suis, avec le respect le plus profond, Madame, votre très humble et très obéissant serviteur.

Alexandre Pouchkine.

Cette lettre est écrite de Tsarskoïe-Sélo, où Pouchkine et sa jeune femme sont venus chercher la paix et la solitude, loin des tracas du monde, loin de la belle-mère, dans une atmosphère qui rappelle au poète les doux souvenirs de lycée.

Solitude idyllique, mais, hélas ! éphémère et relative. La capitale n'est qu'à quelques lieues et voici que, deux mois après Pouchkine, toute la cour vient s'installer à Tsarskoïé-Sélo. Dès lors, adieu quiétude. « Tsarskoïé-Sélo s'anime et devient une autre capitale ». Les Pouchkine sont de nouveau emportés dans le tourbillon de la vie mondaine.

Par sa beauté, Nathalie Pouchkine produisit une grosse impression sur le tsar, qui en tomba éperdument amoureux... Il fit venir son mari. « Puisqu'il est marié, il faut faire marcher sa marmite », avait-il dit à Joukovski.

Sa Majesté reçut Pouchkine avec une amabilité rare et le combla de flatteries.

— Dis-moi, Pouchkine, pourquoi te tiens-tu toujours à l'écart. On dirait que tu me fuis. Et pourtant, Dieu sait si j'ai besoin de gens doués comme toi pour m'aider dans ma tâche qui est de faire de la Russie un pays grand, heureux et cultivé.

— Votre Majesté, vous servir serait ma plus grande joie, mais je suis écrivain et si je puis être utile au pays, c'est seulement par ma plume.

— Crois-tu donc que je veuille t'imposer quelque autre emploi ? Loin de moi l'idée de faire de toi un fonctionnaire, laissons les paperasses aux ronds-de-cuir. J'attends beaucoup mieux de ton génie poétique. Songes-y et dis-moi ce qu'il te plairait de faire. Il faut que tu puisses créer librement, débarrassé de tous les soucis mesquins de l'existence.

— Votre Majesté, je deviendrais volontier rédacteur en chef d'un journal politique et littéraire. J'y convierais nos personnalités les plus marquantes. Elles travailleraient de la sorte pour le bien

du pays et ne pourraient plus vous accuser d'être l'adversaire de la culture russe.

— L'idée est très bonne, je la retiens et nous en reparlerons. J'ai peur toutefois que la rédaction d'un journal ne t'enlève la majeure partie d'un temps fort précieux et ne te cause trop de soucis.

— En ce cas, Votre Majesté, j'aurais voulu qu'il me fût permis de me livrer à des recherches historiques dans les archives de l'Empire. Sans oser prétendre au titre d'historiographe de votre dynastie, apanage de notre regretté Karamzine, je me permets de vous dire que j'aurais pris le plaisir le plus vif à écrire une histoire de nos Tsars, depuis Pierre-le-Grand, jusqu'à Pierre III.

— Fort bien ! Je te charge, dès demain, d'une telle mission, avec des appointements annuels de 5.000 roubles. Je vais donner l'ordre de mettre les archives à ton entière disposition. Fouilles-y tant que tu voudras. Je suis sûr que tu sauras écrire une histoire de Pierre-le-Grand, digne de mon aïeul.

LA LETTRE ANONYME

— Alexandre Sergueiévitch, je viens de recevoir une lettre pour vous..., dit le comte Sologoub, jeune poète et fervent admirateur de Pouchkine, en entrant dans le cabinet de travail de son ami. Il s'arrêta net. Pouchkine paraissait être dans un état de surexcitation étrange, son visage était défiguré par la rage. Il se précipita sur la lettre que Sologoub tenait en main, la froissa et la jeta dans la corbeille à papier, sans même la décacheter.

— Ma conduite vous surprend ?.. Je sais ce que vous m'avez apporté. J'ai déjà reçu plusieurs de ces lettres. C'est une infamie dirigée contre ma femme. Au fond, j'ai peut-être tort de me mettre en colère, une lettre anonyme ne vaut même pas la peine qu'on y fasse attention. Si quelqu'un vous crache dessus par derrière, c'est à votre domestique, et non à vous, d'enlever la tache ! Ma femme est un ange à l'abri de tout soupçon !

Sologoub ne comprenait rien à ce discours. Il fixait Pouchkine avec une surprise évidente.

— Vous ne comprenez sans doute pas de quoi il s'agit... Lisez ça, c'est une lettre anonyme que j'ai reçue ce matin par la poste.

Sologoub prit le papier et lut :

« Les Grand-Croix, Commandeurs et Chevaliers du Sérénissime Ordre des Cocus, réunis en grand chapitre sous la présidence

du vénérable grand-maître de l'Ordre, S.E.O.L. Narychkine, ont nommé à l'unanimité M. Alexandre Pouchkine, coadjuteur du grand-maître de l'Ordre des Cocus et historiographe de l'Ordre.

« Le secrétaire perpétuel : Comte Y. Borch ».

— Les salauds ! Coadjuteur de Narychkine, vous entendez ! Votre femme est la maîtresse du tsar Nicolas, comme celle de Narychkine fut la maîtresse de son frère Alexandre Ier. Ils savent, pourtant, comme vous et moi que Nathalie est irréprochable ! Cela ne les empêche pas, depuis trois ans, de poursuivre leur campagne infâme ! Quelle engeance ! Nous avons de quoi être fiers : l'épouse de notre ministre des Affaires étrangères passe son temps à tisser des intrigues et à répandre des calomnies sur le compte de ma femme, qu'elle déteste, et sur celui de notre tsar, qu'elle adore. Le tsar a courtisé ma femme, il a tout fait pour l'avoir. J'en suis fier si vous voulez, je tire vanité de la constance de Nathalie à ne pas lui céder.

Sologoub l'avait laisser parler sans l'interrompre.

— Ces canailles de Nesselrode et d'Ouvaroff ont décidé d'empoisonner mon existence. Depuis quatre ans déjà, je vis dans une atmosphère de lettres anonymes et de dénonciations. J'en étouffe. Voilà maintenant qu'ils font passer Nathalie pour la maîtresse de d'Anthès, cet infâme petit chouan, ce « chéri » des femmes. Il leur faut à tout prix compromettre Nathalie. D'Anthès, ce rigolo en tenue de Chevalier de Gardes, lui fait la cour depuis deux ans, et quelle cour ! Il se dit amoureux d'elle. Pensez-vous, il a besoin, pour sa carrière, de courtiser à grand renfort de tapage une personne en vue et de se faire passer pour l'amant de la plus belle femme de Russie.

A mesure qu'il parlait, Pouchkine était de plus en plus excité. On voyait à quel point il en avait assez de toutes les calomnies que l'on répandait sur son compte et sur celui de sa femme. Sologoub tâcha, en vain, de le calmer.

— Mais vous aller voir maintenant.

Les yeux de Pouchkine s'étaient injectés de sang, il était terrible à voir.

— C'est fort heureux que vous soyez venu. J'ai décidé de provoquer d'Anthès en duel et je vous demande d'être mon témoin.

— Calmez-vous, Alexandre Sergueiévitch. Il ne faut pas se laisser emporter de la sorte à cause d'une lettre anonyme. Vos amis savent, aussi bien que vous, que votre femme est irréprochable. Que vous faut-il de plus ? Ne vous occupez pas de la calomnie.

— Non, c'est impossible. J'appartiens à la Russie. Il est inadmissible que l'ombre d'un soupçon puisse peser sur l'honneur de ma femme, la femme de César. D'ailleurs, vous devez comprendre que c'est le seul moyen d'en finir, une fois pour toutes, avec la calomnie et les calomniateurs.

Sa décision prise, Pouchkine parut se calmer et s'entretint avec son ami d'affaires littéraires avec une sérénité parfaite, comme si rien ne s'était passé.

LE DUEL DANS LA NEIGE

Le 8 février 1837, deux traîneaux s'arrêtaient, presque en même temps, dans un sous-bois, auprès de la villa du commandant, sur les berges de la rivière Tchernaia. L'un portait Pouchkine et son second Danzas, l'autre, d'Anthès et son témoin d'Archiac. Les quatre hommes descendirent et s'engagèrent dans un sentier, à l'écart de la route. Il y avait de la neige jusqu'aux genoux. Après avoir choisi un endroit convenable, les deux témoins et d'Anthès aménagèrent un espace large d'un mètre et long de vingt pieds, tandis que Pouchkine, assis sur un tas de neige, suivait les préparatifs funestes avec la plus entière indifférence. Il fut décidé que les deux adversaires tireraient à dix pas l'un de l'autre. Quand Danzas agita son chapeau, ils se placèrent à cinq pas de leur limite respective, marquée par des manteaux, et avancèrent. A peine Pouchkine eut-il atteint l'endroit qui lui était fixé que son adversaire fit feu. Le poète tomba sur le manteau et son pistolet, lui glissant de la main, s'incrusta dans la neige, à tel point que le canon en fut rempli.

— Je suis blessé, s'écria-t-il.

Comme d'Anthès s'approchait, il ajouta :

— Ne bougez pas. Je me sens assez fort pour tirer mon coup.

Danzas lui présenta un autre pistolet. Alors, toujours couché, s'appuyant sur son bras gauche, il visa, tira, et d'Anthès tomba à son tour. Mais celui-ci n'était blessé que légèrement ; la balle avait simplement traversé les parties charnues du bras droit. Un bouton avait sauvé d'Anthès.

— Bravo ! s'écria Pouchkine, en voyant son adversaire s'affaisser, et il lança son pistolet.

Hélas, le poète était gravement atteint ; il s'évanouit. Quand il revint à lui, sa première question à d'Archiac fut :

— L'ai-je tué ?

— Non, riposta l'autre, mais vous l'avez blessé.

— C'est curieux, je pensais que j'aurais du plaisir à le tuer. Je constate que ce n'est pas le cas. Au reste, cela n'a pas d'imporpance, dès que nous serons rétablis, nous recommencerons !

Le sang coulait de la blessure. Il fallut soulever le blessé. Comme il était impossible de le porter à bras jusqu'au traîneau, on fit avancer celui-ci, après avoir démoli la palissade. Arrivés sur la route, on étendit Pouchkine dans la voiture de d'Anthès qui attendait ; Danzas prit place à ses côtés.

Pendant le trajet, Pouchkine ne semblait pas souffrir, du moins Danzas ne s'en aperçut pas, car il était gai, plaisantait et racontait des anecdotes.

Il était six heures, quand ils arrivèrent à la maison. Le valet de chambre, accouru, prit le blessé dans ses bras et le monta dans sa chambre.

— Tu es triste de me porter ! balbutia Pouchkine.

Sa femme était dans le vestibule, elle tomba sans connaissance quand elle le vit dans cet état...

Deux jours après, 10 février 1837, celui qui fut un des plus grands poètes de la Russie, expirait, victime de la calomnie et des lettres anonymes.

«Пари-суар». Воскресенье, 7 февраля 1937 г. Париж.

Празднование столетия смерти гения романтика

ПУШКИН, ВСЮ ЖИЗНЬ ПРОНИКНУТЫЙ ПЫЛКОЙ ЛЮБОВЬЮ, УМИРАЕТ НА ДУЭЛИ, ЗАЩИЩАЯ ЧЕСТЬ СВОЕЙ ЖЕНЫ

— Его превосходительство, граф Милорадович просит Ваше Величество принять его.

Александр I, Царь всея России, сидя перед своим письменным столом, изучал карту генерального штаба. Он поднял голову и сказал:

— Пусть войдет.

Адъютант исчез. Через несколько мгновений он вновь появился, пропуская входящего графа Милорадовича, генерал-губернатора Санкт-Петербурга.

— Что у тебя есть нового сказать мне, граф? — спросил Царь, пожимая ему радушно руку.

— Ваше Величество, у меня вчера был с визитом Пушкин, и я хотел Вас поставить об этом в известность.

— Пушкин, поэт? Так он, значит, не арестован?

— Нет, Ваше Величество. Несмотря на то, что Вы дали мне приказание арестовать его и отобрать у него бумаги, я счел необходимым не исполнить его. Действительно, мне казалось более уместным пригласить его ко мне и поговорить с ним. Государь, какой замечательный человек этот Пушкин. Посудите сами, он является ко мне: лицо его спокойно, он улыбается. Я ему говорю о его бумагах, приказываю доставить мне его политические стихи.

— Граф, это бесполезно, — говорит он мне, — я их все сжег, и вы у меня ничего не найдете. Но все они запечатлелись вот здесь (говоря это, он показывает на свой лоб). Прикажите дать мне бумаги и я напишу все, что я сочинил, кроме того, конечно, что было уже опубликовано. Кроме того, я вам укажу, что мое и что распространяется под моим именем.

Государь торопливо взял тетрадь.

— Нет, Государь, не стоит их читать! Насколько этот человек сам замечателен, настолько его стихи ужасны!

Александр улыбнулся:

— Хорошо. Но что же ты сделал с их автором?

— Государь, я был настолько взволнован его чистосердечностью, что немедленно объявил ему прощение Вашего Величества.

Император нахмурил брови:

— Не поторопился ли ты с решением? Простить человеку, который заслуживает Сибири или Соловков.

— Государь, я может быть виноват, но, искренно говоря, я не мог поступить иначе. Но конечно, если Ваше Величество...

— Хорошо, хорошо! Что сделано, то сделано. Мы устроим все иначе. Пошлите этого Пушкина в путешествие, например, на юг, с каким-нибудь подобающим назначением и обязательством соблюдения им всех необходимых условий должного поведения. Пусть ему оплатят все его расходы по путешествию.

— Смею ли я позволить себе сделать предложение Вашему Величеству?

— Я тебя слушаю.

— Отправим Пушкина к генералу Инзову. Это честный человек, верноподданный Вашего Величества, пожилой, конечно, но он составит для Пушкина приятное общество, и я уверен, что он ему внушит превосходные наставления.

— Пусть будет так, — ответил Царь.

Аудиенция была окончена.

«САРАНЧА ЛЕТЕЛА...»

Одесса — солнечный город на Черном море...

— Вот как! Вы сидите здесь на террасе кофейной, Пушкин, вместо того чтобы находиться в присутствии? Его превосходительство, граф очень разгневан, он мне приказал найти вас любой ценой. Я только что зашел к вам, но вас там не было. Его превосходительство просят вас прийти сейчас же и принести ваш рапорт о вреде, причиненном налетом саранчи.

Хмурый Пушкин подымается и идет за посланным. Вскоре они предстоят пред Его превосходительством графом Воронцовым, губернатором Новороссии. Он принимает сдержанно, высокомерно, но вполне вежливо — так как Его превосходительство имело, впрочем, вполне оправданные, подозрения об отношениях Пушкина с графиней.

— Пушкин, я обязан сделать вам последнее предупреждение. Вы свободны писать стихи в часы вашего отдыха, но я требую, чтобы вы, как и все, были на службе в часы присутствия. Я вас прошу быть честным и добросовестным чиновником. Вам платят за работу, а не за гулянье.

— Ваше превосходительство, вы так же хорошо, как и я, знаете, что я стал чиновником против моего желания и что, на мой взгляд, мое вознаграждение равно пайку ссыльного каторжника.

— Думайте, что хотите. Но тем не менее я должен заставить вас по крайней мере добросовестно исполнять вашу службу. Кстати, когда же я наконец получу ваш рапорт о вреде, причиненном налетом саранчи на юге?

— Вот он, ваше превосходительство.

Пушкин протянул графу довольно объемистую тетрадь.

— Свободен ли я теперь, Ваше превосходительство?

— Идите, и скажите Казначееву дать вам копию министерских отчетов за прошлый месяц.

Едва покинув кабинет губернатора, Пушкин поспешил... на берег моря.

Оставшись один, граф Воронцов начал перелистывать рапорт Пушкина. По мере того как страницы сменяли одна другую, лицо графа становилось все более пунцовым.

На первой странице было написано большими буквами:

«Саранча летела, летела».

Затем, на восьми следующих страницах все повторялось: «летела, летела, летела...» и т. д.

На одиннадцатой странице и десяти последующих: «и села; сидела... сидела...» и т. д.

Затем, на следующих двенадцати страницах: «Все съела, все съела...».

Наконец, на последней: «и вновь улетела...».

Красный, как мак, граф позвонил в звоночек, находящийся на его столе.

— Позовите Пушкина! Немедленно.

— Ваше превосходительство, его уже нет в присутствии.

. . . .

Секретарь графа Воронцова — его любимец — показался на пороге.

— Ваше превосходительство, вы хотели избавиться от Пушкина. Я думаю, что на этот раз моя слежка не останется напрасной. У меня есть данные, чтобы послать его в Соловецкий монастырь, и он от этого не увернется. У меня есть письмо, перехваченное на почте. Соблаговолите его прочесть, Ваше превосходительство.

«Ты хочешь знать, что я делаю — пишу пестрые строфы романтической поэмы — и беру уроки чистого афеизма. Здесь англичанин, глухой философ, единственный умный афей, которого я еще встретил. Он исписал листов 1.000, чтобы доказать qu'il ne peut exister d'être intelligent, Créateur et régulateur, мимоходом уничтожая слабые доказательства бессмертия души. Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но к несчастию более всего правдоподобная».

СКАЗКИ НЯНИ

Грустно и холодно в этом далеком селе Псковской губернии. Река и озеро замерзли, снег покрывает белой пеленой — огромной, бесконечной — холмы и равнины; он занес стволы деревьев и тянется необозримо. День наступает поздно, а с трех часов уже темно — ложится тоскливая глубокая ночь.

Большой дом в Михайловском кажется заснувшим. Летом в его стенах раздавались веселые юные голоса; теперь зима, в нем дрожишь от холода. Постройка не отапливается, малейший огонь наполняет ее комнаты горьким дымом; в нем задыхаешься, в горле режет, приходится открывать двери и окна, впуская опять холод снаружи. Пушкин живет в нем один. В тишине раздается иногда шум приглушенных голосов из девичьей, где работают молодые крепостные девушки.

Пушкин сидит за своим письменным столом. «Борис Годунов» — величайшее поэтическое произведение его гения закончено. Целый год он работал над ним, охваченный творческим трепетом: как только он брал в руку перо, набегали толпы рифм — легкие, окрыленные стихи лились свободно. Эта драма окончена, написана и переписана. Пушкин, с беспокойством ожидавший этого высокого момента, с этих пор чувствует лишь томительную скуку и досаду. Его душа опустошена, его вдохновение исчерпано. Что делать? Читать? Библиотека не хранит от него более никаких тайн. Идти к своим соседям? Чего ради? Он больше не в силах слышать вздохи и упреки некрасивой, раньше времени состарившейся девушки — восемьдесят третьей победы в его списке Дон-Жуана, — которой он когда-то, в момент скуки, говорил о любви; он не может больше находиться с матерью, которая с жеманством старой кокетки рассуждает без конца о делах любви. К черту все это!

Пушкин выходит, стучит в дверь маленькой избушки, находящейся поодаль. Внутри одна комната — его старой няни. Добрая няня при входе своего барина волнуется. Она могла бы уже привыкнуть к его посещениям.

— Ах это ты, мой соколик! Ты пришел слушать сказки твоей няни?

Старая няня начинает рассказывать былые народные легенды, передающиеся из уст в уста веками. Время от времени она останавливается, чтобы глотнуть водочки и угостить поэта, слушающего ее внимательно. Затем, понемногу, сон одолевает бедную старушку, ее нос краснеет все больше, язык у нее заплетается и, наконец, она засыпает.

НАТАША

Пушкин в Москве...

Он только что приехал из Санкт-Петербурга; сердце его волнуется при одном воспоминании о милой ножке Аннеты Олениной. Красивая Аннета вскружила ему голову, он больше не думает даже о графине Закревской, этой бронзовой Венере, этой Невской Клеопатре, невероятно чувственной, ни о Катеньке Вельяшевой — этой юной девушке в деревне, сердце которой он победил с легкостью. Но поэт немного остепенился, ему нравится мечтать о том, что Аннета Оленина станет Аннетой Пушкиной. Дилижанс его быстро несся по сверкавшему только что выпавшему снегу; поэт писал стихи, целая тетрадь его стихов посвящена Рафаэлевскому ангелу и маленькой прелестной ножке.

Не успел Пушкин высадиться, как стал торопиться одеваться к выходу на большой бал, обещавший быть еще более блестящим благодаря присутствию на нем Его Величества Николая I.

...В зале, в нескольких шагах от Государя, стояла юная девушка. Ей можно было дать не больше шестнадцати лет. Пушкин увидел ее, и сразу для него больше ничто не существовало. Аннета, бал, царь, все было забыто, улетело, затуманилось сверхъестественной красотой. Она, по-видимому, была смущена слишком внимательными взглядами Его Величества, которыми он не скупился ее удостоить, и огнем, сверкавшим в пылких взглядах Пушкина, устремленных на нее.

— Вы так поглощены любованием моей Наталии, что совершенно не обращаете внимания на меня!

Голос княгини Долгоруковой вернул Пушкина к земной реальности.

— Я вас впрочем прекрасно понимаю. Она просто восхитительна и очень хорошая девочка. Посмотрите, как она держится, какая благородная аристократическая осанка, ни малейшего намека на вульгарность или дешевое кокетство...

Княгиня замолчала.

— Не хотите ли вы, Пушкин, чтобы я вас представила Наташе и ее матери? Вы были бы, я думаю, хорошим мужем для нее. Наша Наташа — это чистая романтическая красота. Вы, вы первый романтический поэт нашего времени. Чего же лучше?

— Я? Такой безобразный, жениться на этой Мадонне? Вы смеетесь надо мной, княгиня! Вулкан просил бы руки Венеры! Весь свет будет смеяться надо мной! Я уверен, что она не захочет даже посмотреть на меня...

— Вы ошибаетесь, дорогой мой Пушкин. Она будет счастлива быть вашей женой. Ваша известность и ее желание вырваться из семьи, которая представляет собою настоящий ад, — вот два странных, но сильных довода в вашу пользу. Думаете ли вы, что ей жизнь сладка, — с отцом, совершенно сошедшим с ума, и матерью — притворно набожной, которая напивается водкой целыми днями и связывается со своими конюхами. Я уверена, что вы не понравитесь Гончаровой; однако, она все же согласится отдать свою дочь, чтобы избавиться от нее, чтобы быть более свободной... Они делают вид, что богаты, на самом деле у них нет ни гроша. Я должна была одолжить Наташе мои туфли и перчатки, чтобы она могла прийти сегодня на бал.

Пушкин, не слушая дальше, отошел. Он заметил своего друга, графа Толстого, и бросился к нему, даже не здороваясь.

— Знаете ли вы Гончаровых? Будьте милостивы, пойдите попросите руки Наташи от моего имени!

ПУШКИН И ГОСУДАРЬ

Madame,

J'ai été obligé de quitter Moscou pour éviter des tracasseries qui, à la longue, pouvaient compromettre plus que mon repos ; on me dépeignait à ma femme comme un homme odieux, avide, un vil usurier, on lui disait : « Vous êtes une sotte de permettre à votre mari, etc... ». Vous m'avouerez que c'était prêcher le divorce. Une femme ne peut décemment se laisser dire que son mari est un infâme, et le devoir de la mienne est de se soumettre à ce que je me permets. Ce n'est pas à une femme de 18 ans de gouverner un homme de 32. J'ai fait preuve de patience et de délicatesse, mais il paraît que l'une et l'autre sont duperie. J'aime mon repos et je saurai me l'adjuger.

Je suis, avec le respect le plus profond, Madame, votre très humble et très obéissant serviteur.

Alexandre Pouchkine.

Это письмо было написано из Царского Села, где Пушкин и его молодая жена надеялись найти покой и уединение вдалеке от светского шума, подальше от тещи — в той атмосфере, которая воскрешала поэту нежные воспоминания о Лицее.

Идиллическое уединение — но, увы! недолговечное и относительное. Столица находится в нескольких верстах, а через два месяца после Пушкина весь двор приезжает и располагается в Царском Селе. С этих пор, прощай покой! «Царское Село оживляется и становится второй столицей». Пушкины снова вовлечены в водоворот светской жизни.

Своей красотой Наталия Пушкина произвела большое впечатление на Государя, который страстно влюбляется в нее... Он призвал к себе мужа. «Так как он женат, надо посодействовать ему», — сказал он как-то Жуковскому.

Государь принял Пушкина с редкой сердечностью и рассыпался в похвалах.

— Скажи мне, Пушкин. Почему ты держишься всегда в стороне? Можно сказать, что ты меня избегаешь. А между тем, один Бог знает, как мне нужны такие одаренные люди, как ты, чтобы помочь мне в моей задаче сделать из России большую, счастливую и культурную страну.

— Ваше Величество, служить вам было бы моей самой большой радостью, но я писатель и могу быть полезен государству только моим пером.

— Неужели ты думаешь, что я хотел бы возложить на тебя какое-нибудь другое занятие? Мысль сделать из тебя чиновника далека от меня, оставим бумаги канцелярским крысам. Я жду от твоего поэтического гения гораздо большего. Подумай об этом и скажи мне ,что тебе хотелось бы делать. Надо, чтобы ты мог творить свободно, без всяких мелких забот о существовании.

— Ваше Величество, я стал бы охотно главным редактором какого-нибудь политического и литературного журнала. Я привлек бы к нему самых выдающихся личностей. Они работали бы с пользой для страны на этом поприще и не могли бы больше обвинять Вас как противника русской культуры.

— Идея очень хорошая, я отмечаю ее, и мы об этом еще поговорим. Однако, я боюсь, что редактирование журнала возьмет большую часть твоего времени, столь драгоценного для тебя, и причинит тебе слишком много неприятностей.

— В таком случае, Ваше Величество, я хотел бы, чтобы Вы разрешили мне отдаться историческим изысканиям в государственных архивах. Не смея претендовать на звание историографа Вашей династии, что является достоянием оплакивае-

мого нами Карамзина, я позволю себе сказать Вам, что для меня было бы самым большим удовольствием написать историю наших царей начиная с Петра Великого и до Петра III.

— Замечательно. Я поручаю тебе, с завтрашнего дня, эту миссию, с годовым содержанием в 5 000 рублей. Я прикажу дать архивы в полное твое распоряжение. Разбирайся в них, сколько хочешь. Я уверен, что ты сумеешь написать историю Петра Великого, моего достойного предка.

АНОНИМНОЕ ПИСЬМО

— Александр Сергеевич, я только что получил письмо для вас... — сказал, входя в рабочий кабинет своего друга, граф Соллогуб, — молодой поэт и горячий поклонник Пушкина. Он внезапно остановился. Пушкин казался ему в состоянии странного чрезмерного возбуждения; его лицо было искажено гневом. Он набросился на письмо, которое Соллогуб держал в руке, смял его и бросил в корзинку для бумаги, даже не распечатывая.

— Вас удивляет мое поведение?.. Я знаю, что вы мне принесли. Я получил уже несколько таких писем. Это пасквиль, направленный против моей жены. По существу, может быть я неправ приходить в такое раздражение. Анонимное письмо не стоит того, чтобы на него обращать столько внимания. Если кто-нибудь плюет на вас сзади, — это дело вашего слуги, а не ваше, вычистить это пятно! Моя жена — ангел, вне всякого подозрения!

Соллогуб не понимал ничего из этих речей. Он смотрел на Пушкина с явным удивлением.

— Вы, без сомнения, не понимаете к чему это все относится... Прочитайте его; это анонимное письмо я получил сегодня утром по почте.

Соллогуб взял лист и прочел:

« Les Grand-Croix, Commandeurs et Chevaliers du Sérénissime Ordre des Cocus, réunis en grand chapitre sous la présidence du vénérable grand-maître de l'Ordre, S.E.O.L. Narychkine, ont nommé à l'unanimité M. Alexandre Pouchkine, coadjuteur du grand-maître de l'Ordre des Cocus et historiographe de l'Ordre.

« Le secrétaire perpétuel : Comte Y. Borch ».

— Мерзавцы! Коадъютора Нарышкина, вы слышите! Моя жена — любовница Николая, как жена Нарышкина была любовницей его брата, Александра. Они знают, между тем, как и вы сами, и я, что Наталия безупречна! Мы можем гордиться этим: супруга нашего министра иностранных дел проводит свое

время, собирая сплетни и распространяя клевету на мою жену, которую она ненавидит, и на государя, которого она обожает. Если хотите, я этим очень горд, я хвалюсь постоянством Наталии, не поддающейся ему.

Соллогуб оставил его говорить, не перебивая.

— Эти мошенники, Нессельроде и Уваров решили отравлять мое существование. Уже в течение четырех лет я живу в атмосфере анонимных писем и доносительства. Я задыхаюсь. Вот теперь они хотят сделать ее любовницей Дантеса, этого презренного мелкого шуана, этого «любимца» женщин. Им нужно во что бы то ни стало скомпрометировать Наталию. Дантес, этот альфонс в форме гвардейского офицера, увивается за нею уже два года, и еще как! Он называет себя влюбленным. Вы думаете, что это так? Ему нужно, для его карьеры, ухаживать, с тем чтобы об этом много говорили, чтобы его считали любовником самой красивой женщины России.

По мере того, как он говорил, Пушкин становился все более взволнованным. Видно было, насколько ему надоели все эти клеветничества, которые распространялись о нем самом и о его жене. Соллогуб попытался было его успокоить.

— Нет, теперь вы увидите.

Глаза Пушкина налились кровью, вид его был ужасен.

— К счастью, вы пришли. Я решил вызвать Дантеса на дуэль и прошу вас быть моим свидетелем.

— Успокойтесь, Александр Сергеевич. Не надо так горячиться из-за анонимного письма. Ваши друзья знают так же хорошо, как и вы, что ваша жена безупречна. Что вам надо еще больше? Не волнуйтесь из-за этой клеветы.

— Нет, это невозможно. Я принадлежу России. Недопустимо, чтобы тень подозрения могла лечь на честь моей жены, жены Цезаря. И в конце концов, вы должны понять, что это является единственным способом покончить с этим раз и навсегда, покончить с клеветой и клеветниками.

Приняв решение, Пушкин, по-видимому, успокоился и стал беседовать со своим другом о литературных делах совершенно спокойно, как будто ничего не произошло.

ДУЭЛЬ В СНЕГУ

8 февраля 1837 года, двое саней остановились почти в одно время на опушке леса, недалеко от дачи коменданта, на берегу Черной речки. В одних санях сидел Пушкин и его секундант Данзас, в других — Дантес и его секундант д'Аршиак. Четыре человека вышли из саней и пошли по тропе, в сторону от дороги. Снегу было по колено. Выбрав подходящее место,

два секунданта и Дантес утоптали место шириной в метр и длиной в 20 шагов, тогда как Пушкин, сидя на куче снега, следил за роковыми приготовлениями с полным безразличием. Было решено, что два противника будут стрелять на расстоянии десяти шагов один от другого. Когда Данзас махнул своей шапкой, они встали в пяти шагах от соответствующего каждому предела, отмеченного шубами, и каждый пошел вперед. Не успел Пушкин дойти до назначенного ему места, как его противник выстрелил. Поэт упал на шубу, и его пистолет, выскользнув из его руки, врезался в снег так глубоко, что его дуло было все забито снегом.

— Я ранен, вскрикнул он.

Дантес хотел подойти к нему, но он добавил:

— Не двигайтесь. Я еще достаточно силен, чтобы стрелять.

Данзас протянул ему другой пистолет. Тогда, лежа, опираясь на свою левую руку, он прицелился и выстрелил, и Дантес упал, в свою очередь. Но он был только легко ранен; пуля лишь легко ранила мягкую часть его правой руки. Пуговица спасла Дантеса.

— Браво! — вскрикнул Пушкин, видя, что его противник упал, и он бросил свой пистолет.

Увы, поэт был тяжело ранен: он потерял сознание. Когда он пришел в себя, первым его вопросом к д'Аршиаку было:

— Убил ли я его?

— Нет, ответил тот, но вы его ранили.

— Любопытно, я думал, что доставлю себе удовольствие убить его. Вижу, что это не так. Впрочем, это не имеет значения; как только мы поправимся, мы начнем с начала.

Кровь лилась из раны. Надо было поднять раненого. Так как нести его до саней было невозможно, подвезли к нему сани, разломав для этого забор. Выехав на дорогу, Пушкина уложили в сани Дантеса, который ждал его. Данзас сел рядом с ним.

В пути Пушкин, казалось, не страдал; во всяком случае, Данзас этого не заметил, так как он был весел, шутил и рассказывал анекдоты.

В шесть часов вечера, когда они приехали домой, прибежал денщик, взял на руки раненого и понес его в комнату.

— Тебе грустно меня нести! — пробормотал Пушкин.

Его жена была в парадной: увидев его в таком состоянии, она потеряла сознание...

Через два дня, 10 февраля 1837 года, тот, кто был одним из самых больших поэтов России, скончался, пав жертвой клеветы и анонимных писем.

Сергей Лифарь.

Наш Пушкин

В мировой литературе с Библией, великими греками и Евангелием дороги человеку Данте, Шекспир, Гете и Достоевский.

Через Достоевского западный мир узнал о России, услышал о ней, глубокой, трудной почти непонятной. Достоевский мастерски вскрыл психологию человека среднего класса, класса, преобладающего в России после крестьянства, показав его то добродушного, то черствого, то хитрого, то — и это чаще всего — жалостливого и мистически отрешенного от всего мирского. Наряду с этим Достоевский-мыслитель предсказал мощность и идеологически духовную стойкость русского человека, которую он проявил четверть века спустя в тяжелые дни нашей революции. Борьбу за идею, за самосознание, с шепотом и оглядкой передают длинные, почти заплетающиеся иногда строки Достоевского. Спокойную гладь глубины религиозной правды тревожит его обостренная мысль. Как оратор, выкрикивает он о мудрости народа, об его инстинкте, о примитивной его силе. Его Россия, Россия Достоевского, знакомая Западу, полна самобичевания, страданий и утех без радости, — такой была и вся жизнь писателя, побывавшего в ссылке в Сибири и испытавшего на себе весь ужас невыполненной казни.

Обо всем, что свойственно человеку, пишет Достоевский — обо всем, кроме Радости. Россия Достоевского представляется каким-то мрачным, темным царством глубокой, безрадостной сумеречности духа и безрадостной сумеречности греховной, темной плоти.

Запад, западный человек и судит о России по Достоевскому и Толстому — в Толстом он познакомился с убийственным, разъедающим рефлексом-самоанализом, приводящим к тому полнейшему анархическому нигилизму, намеки которого встретились в первом русском писателе, с которым познакомился западный читатель, — в Тургеневе.

Тургенев, Толстой, Достоевский — кровь от крови, плоть от плоти русского народа — открыли западному миру так долго отделенную от него, чужую и непонятную Россию, чужую, непонятную русскую душу, русского человека, которого западный человек и не может воспринимать иначе, как через литературу, иначе, как через Тургенева, Толстого и Достоевского. Но не знает западный человек, что эти три великих русских писателя открыли русского человека не только ему, но и самому русскому человеку, что не только Запад, но и Россия судит о России и воспринимает ее сквозь литературу, что и наше интеллигентское знание России книжное, литературное.

У Оскара Уайльда есть глубокая мысль о том, что не только искусство подражает жизни, но и жизнь подражает искусству, творит по образу и по подобию великих произведений искусства. Если эта мысль верна вообще, то она в особенности верна в отношении русской жизни и русской литературы. Конечно, Тургенев угадал в намеках жизни зарождающегося нигилиста Базарова и родную дочь Пушкинской Татьяны — Лизу Калитину, но уже после «Отцов и детей» и «Дворянского Гнезда» жизнь создала законченные и литературно обработанные типы Базаровых и Лиз Калитиных — и в каком количестве! Конечно, черты Алеши Карамазова были неуловимо разбросаны в русской жизни, но живые Алеши Карамазовы появились только после «Братьев Карамазовых».

Русская жизнь не перестала идти вслед за русской литературой: после «Героя нашего времени» появились бесконечные Печорины, которые продержались в русской жизни гораздо больше полувека, и только когда окончательно продрался Печоринский плащ и никакие заплаты не могли уже больше помочь и только подчеркивали убожество наряда, он был выброшен вместе с другим обветшавшим и выцветшим хламом. И как после Пушкинского Онегина современники Пушкина стали узнавать на улице множество Онегиных, так на улицах Петербурга, Москвы, Парижа и Рима (ибо русский интеллигент всегда был скитальцем, и только за время русского исхода — эмиграции стал оседлым, прикрепился — кто к Берлину, кто к Парижу, кто к Нью-Йорку) появились в громадном количестве покорные моде дня воплотившиеся герои Тургенева, Толстого и Достоевского.

И только Первому, жившему на полвека раньше их, их Великому Учителю и Учителю всей русской жизни, жизнь мало подражала: подражание оказывалось или невозможным, или ненужным, излишним. Легко было подражать Онегину, модному, головному, в котором все было расколото, расщеп-

лено, и Онегину, только Онегину, жизнь подражала. Но как можно было подражать всему многообразию, всей органической целостности русской жизни и русской души, синтетически художественно воплощенных в образах Пушкина? Тургенев, Толстой, Достоевский, могли «открывать» отдельные стороны, отдельные черты русской жизни и русской души, самая русская жизнь, самая русская душа во всех ее гранях, во всех сторонах, явлена была до них Пушкиным так щедро — широко, что без знания Его не может быть знания русского народа, русской души, России.

И этот Первый — Пушкин — на полвека раньше Достоевского и Толстого светлым, райским лучем пронизал, согрел и осчастливил сердца русских людей. Гений стал достоянием нации и ее духовным символом.

Радость, бьющая из сердца любовь, духовная чистота, идеалазация души, обожествление природы и музыкальная красота стиха сплетаются в ритмическом киоте Слова и Разума. То, чем Пушкин одарил Россию, нераздельно дорого и всему миру и всему человечеству. В его поэтическом полете было предугадание всех чувств, всех мыслей, всех красот, и в этом одна из главных тайн магии творчества Пушкина. Есть какое-то подлинное чудо в том, что сколько бы его ни перечитывать, как бы его ни знать и ни любить, каждый раз в нем находишь, «открываешь» новое, озаряющее и обогащающее. И это верно не только в отношении отдельных читателей, но и целых поколений: за сто лет, протекших со смерти Пушкина, сколько раз менялся духовный облик его читателя, — и сколько раз менялся духовный облик вечно-живого, некаменеющего, незастывающего Пушкина; каждое поколение открывало «своего Пушкина» — Пушкин оказался неисчерпаем, лучи его солнца — благостного солнца русской поэзии и русской культуры — остались животворящими, вечно согревающими.

Ему, певцу любви, улыбалась природа. Его любили и любят дети. По Пушкину начинаем мы наше знакомство с жизнью, по Пушкину начинаем мы узнавать и любить русский народ и его прошлое, по Пушкину начинаем узнавать и любить и весь мир — от прекрасной античности до прекрасной Франции через средневековую мистическую Англию и знойно-страстную Испанию.

Достоевский говорил, что у русского человека две родины — Россия и Европа. Обе родины были подарены русскому сознанию всеобъемлющим гением Пушкина — самым русским и самым европейским из всех русских писателей. В этом свойстве перевоплощаться в дух и плоть разных народов и разных эпох Достоевский видел пророческое значение Пушкина и в

этом смысле говорил о будущем русском «всечеловеке», прообраз которого он видел в Пушкине.

Может быть, — в этом необыкновенное, исключительное и гениальное свойство Пушкина, воссоздавшего и древний мир, и средние века, и старую Англию и Испанию, и русский XVII и русский XVIII век, а может быть... Может быть, Пушкинские античность и Европа не подлинны, а только нам кажутся подлинными, ибо они до такой степени вошли в нашу плоть и кровь, что иначе, чем по-пушкински, мы их себе не можем и представить, как не можем отделить в нашем представлении о Петербурге или русской провинции наших житейских впечатлений от впечатлений литературных. И когда мы читаем поэму «Полтава», мы невольно видим перед нами Петра Великого, — «человека высокого роста, в зеленом кафтане, с глиняною трубкой во рту, облокотящегося на стол и читающего гамбургские газеты».

Порог XVI-го и XVII-го веков в «Борисе Годунове», XVIII-й век в «Арапе Петра Великого», в «Полтаве», в «Дубровском», в «Капитанской дочке», в «Пиковой Даме», начало XIX-го века — воскрешены Пушкиным с такою силою жизни и жизненности, что не будет преувеличением сказать, что наше восприятие русской истории (вплоть даже до «вещего Олега») и ее действующих лиц неотделимо от произведений Пушкина.

Россия знает и любит своего Гения, свою «первую любовь». Узнает ли и полюбит его когда-нибуд Запад, угадает ли в переводе непереводимый подлинник, такой непревзойденный и непередаваемый прекрасный и совершенный музыкой стиха, — или должен будет сперва, как Проспер Меримэ, выучиться русскому языку для того, чтобы в немом изумлении застыть перед Пушкинским откровением? Мы, русские, знаем, что такое для нас Пушкин — наше «Все» — и нужно, чтобы о нашем Пушкине знали и европейцы. Нужно, чтобы Запад понял, что вся русская культура и в далеком прошлом и в недавнем и вся русская современность так тесно спаяны с Пушкиным, что без знания его нельзя и нас знать. Европейцу трудно узнать Пушкина по плохим переводам; может быть, не зная, он почувствовал его сквозь другой перевод, хотя и очень вольный, часто такой вольный, что в нем искажется даже тон Пушкина, — сквозь русскую музыку, вдохновившуюся, пронизанную Пушкиным, как и все русское искусство, как и вся русская культура.

Гений Пушкина, лирическое волнение поэта, филигранно развивавшееся в гармонично-совершенных формах, вдохновили тех, кого принято считать создателями русской музыки. Все откликнулись на его призыв, все захотели пережить, перечув-

ствовать, пересказать то, что переживал, чувствовал и говорил он. Музыка, заключенная в поэзии Пушкина, настойчиво требовала своего чисто музыкального выражения, чисто музыкального воплощения, своего перевода. И Пушкин, весь Пушкин, был переведен на этот язык, доступный всем иностранцам, подлинно всемирный язык.

Глинка, отец русской музыки, воспел глубокую любовь Пушкинских Руслана и Людмилы. К Пушкину хотел приблизиться знаменитый автор «Русалки», предтеча «могучей кучки», Даргомыжский, гордившийся тем, что он не изменил ни одного Пушкинского слова в «Каменном Госте». Позже Мусоргский обессмертил миру Пушкинского «Бориса Годунова», скорбь которого не заглушает даже торжественно величавый звон Кремлевских колоколов. Музыкальный переводчик «Моцарта и Сальери», Римский-Корсаков спел миру чисто Пушкинскую песню о «Царе Салтане», взяв сюжет из сказки Пушкина. В Пушкинском «Золотом Петушке» тот же композитор нежными ариями напомнил о близости к нам и влиянии Азии, Востока. Еще прежде, Чайковский вдохновляется тем же Пушкиным, и его «Евгений Онегин» и «Пиковая Дама» чаруют нас и наполняют сердца молодежи уже десятки лет любовной тоской, вызывая вздохи сладостных замираний. И не только слышится Пушкин в Пушкинских «Алеко» и «Скупом Рыцаре» Рахманинова, но мы порой угадываем великого поэта даже в «Дубровском» Направника и в «Анджело» и «Капитанской Дочке» Кюи. Наконец, Стравинский пытался найти новую дорогу звуков к Пушкинскому «Домику в Коломне».

Если даже Пушкинская проза и Пушкинский эпос нашли себе выражение в музыке, то что же говорить об его лирике с ее чистой музыкальной тканью, с ее певучестью, которую слышит не только музыкант, но и простой читатель. Музыка Пушкина звучит в его стихах так завораживающе, так вырисовывается ее мелодия, что кажется, остается только записать ее нотными значками. Удивительно ли, что не было ни одного русского композитора — от Глинки через Чайковского, Рубинштейна и «могучую кучку» до Рахманинова, Набокова и Мясковского, — который мог бы устоять перед музыкальным соблазном Пушкинской лирики.

Романсов на слова Пушкина уже не десятки, а сотни, романсов, в которых их авторы в большей или меньшей степени приближаются к Пушкинской стихии. Особенно хочется отметить романсы Римского-Корсакова, и не потому, что их так много, а из-за их особенного своеобразия: при всем их музыкальном богатстве и мелодичности, они кажутся не сочиненными, не написанными на слова Пушкина, а записанными словами

Пушкина; кажется, что в них ничего нет, кроме слова Пушкина, что музыкант не придумал, а только услышал мелодию Пушкина и легко, без собственного труда, без собственного усилия точно записал их...

Есть и еще другой мировой язык, и еще более доступный, более наглядный, чем язык музыки, на который переведен Пушкин — язык живописи, язык наглядных образов. Творчество Пушкина в высочайшей степени конкретно, в высочайшей степени изобразительно, — удивительно ли, что все русские художники от Кипренского и Соколова до Репина, Врубеля и Бенуа, передавали на полотне то, что они видели в стихах Пушкина. Язык живописи еще боле убедителен своей точностью и недвусмысленностью, и не приблизил ли еще более к нам, не оживил ли еще более «Медного Всадника» Александр Бенуа? — но в одном отношении он уступает музыке: в то время, как картину Репина можно увидеть только в Петербурге или в Москве, романс «Пленившись розой, соловей» можно услышать во всех концах мира...

Итак, во всех областях русского искусства и русской культуры: везде, во всем слышится голос Пушкина, надо всем — чудесное веяние его гения.

Свою знаменитую речь на Пушкинском празднике 1880 года (при открытии памятника Пушкину) Достоевский закончил вещими словами: «Жил бы Пушкин долее, так и между нами было бы может-быть менее недоразумений и споров, чем видим теперь. Но Бог судил иначе: Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем».

И что представляет собой вся великая русская литература XIX-го века коленопреклоненных перед Пушкиным писателей, как не разгадывание тайны, оставленной Пушкиным. Не будет преувеличением сказать, что в Пушкине, как в зерне, уже заключалась вся последующая русская литература. Молодой Достоевский, Достоевский «Бедных людей» и «Двойника», говорил о себе и о современных ему писателях: «Все мы вышли из Гоголевской «Шинели»... Это, конечно, частично верно, но... сама-то Гоголевская «Шинель» вышла из Пушкинского «Станционного Смотрителя». Недаром у всех русских писателей — у Лермонтова, у Гоголя, у Тургенева, у Толстого — был настоящий «культ Пушкина», недаром Тургенев в своем предисловии к письмам Пушкина к Н. Н. Гончаровой писал, что избрание его дочерью Пушкина в издатели этих писем является «одним из почетнейших фактов его литературной карьеры»; недаром 16-летний Достоевский говорил, что если-бы он с братьями не

носил уже траура по матери, он просил бы у отца разрешения носить тратур по Пушкину; недаром Гоголь говорил, что со смертью Пушкина у него исчезла опора — и это действительно было так, действительно после смерти Пушкина почва уходила из под ног несчастного великого писателя, недаром Кольцов на просьбу в одном доме прочесть стихотворение отвечал: «Что вы-с, помилуйте-с, здесь только что были-с Александр Сергеевич, и я стану после них читать свои стихи» — и не читал..., недаром Тютчев писал, что Пушкина

Как первую любовь,
России сердце не забудет.

Сергей Лифарь.

1934 г.

Вечный Пушкин

К 125-летию смерти поэта

Сто двадцать пять лет тому назад, в холодный январский день, в одной петербургской квартире на Мойке, произошло одно из самых трагических событий в истории русской культуры, в истории России. Умер Пушкин. Оборвалась жизнь человека, осенившего своим гением целый век, давшего ему имя «золотого века русской литературы». Умер Пушкин... Эти два слова останутся навсегда для нас самыми трагическими. Они означают не только потерю Россией ее национального гения, но и утрату всеми нами любимого поэта.

Мы любим Пушкина — самое полное и самое лучшее выражение России, ее наибольшее оправдание перед миром... Тютчев назвал Пушкина «первой любовью России». Эта первая любовь России, любовь к Пушкину, так велика, что она выходит далеко за пределы любви к поэту, художнику, создателю поэтических ценностей. Пушкин был прежде всего поэтом — таким поэтом, какого в России не было, да, должно быть, никогда и не будет. До сих пор стих Пушкина остается непревзойденным в России и, как это печально, недоступным для иностранцев. Ибо они никогда не узнают поэта Пушкина. Можно передать на чужой язык образы Пушкина, и это относительно легко: Пушкин больше рисует верным и тонко отточенным карандашом, чем трудно передаваемым сочетанием красок. Можно было бы попытаться передать и звуковую живопись Пушкина, — больше попытаться передать, чем передать в действительности, ища в чужом языке соответствующие звуки и их сочетания... Но как передать то слияние, единственное слияние звука и образа, когда образ возникает не только в его статике, но и в его динамике, когда он возникает не только в смысловой значимости, но и из звуковых сочетаний, — то единственное, будящее мысль и чувство слияние, которое не передать иначе чем у Пушкина, другими словами и сочетаниями слов,

не только на чужом языке, но и по-русски, без того, чтобы не разрушилась вся поэтическая ткань стихотворения.

Вот небольшой пример. Как передать другими словами эту изумительную картину, рисовавшуюся в больном воображении Евгения, героя «Медного Всадника», когда за ним, Евгением, несется этот, только что им проклятый, Всадник. Как передать словами эти звуки копыт, сотрясающие мостовую своим ритмическим топотом.

И он по площади пустой
Бежит и слышит за собой —
Как-будто грома грохотанье —
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой.
И озарен луною бледной,
Простерши руку в вышине,
За ним несется Всадник Медный
На звонко-скачущем коне;

При передаче кем бы то ни было этого образа неизбежно произошло бы одно из двух: или померкнет самый образ, или автор устремит свое творчество на поиск соответствующих знаков, или пропадет звуковая окраска образа и, значит, его выразительность, если автор будет стремиться к его точности. Гений Пушкина подсказал ему именно те слова, которые в данном случае единственно нужны и незаменимы.

Но это, так сказать, вещественная часть стиха. И здесь Пушкин непревзойден никем — стих его вещественно прекрасен и уже по одному этому трудно передаваем на каком-либо другом языке. Но есть другая сторона стихов Пушкина — не вещественная, невесомая, и в этой области ни один, быть может, поэт мира не может сравниться с Пушкиным. Стих Пушкина так легок, так светел, так прозрачен, что кажется порой, он вне слов, над словами, сам собой передает поэтическую мелодию, самое дыхание поэзии, как может иногда передавать только музыка или божественно легкий, не касающийся земли, танец.

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой... Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит — оттого,
Что не любить оно не может.

Что это: поэзия, музыка, танец? Конечно поэзия, самая душа поэзии, та же душа, что и в музыке и в танце, и так совершенно полно переданная, что не нуждается ни в какой ни музыкальной, ни в танцевальной интерпретации. Можно сочинить романс-фантазию на эту пушкинскую элегию, можно сочинить танец-фантазию на нее, как и танец-фантазию на пушкинского «Пророка», но это не будет интерпретацией.

Совершенство стиха Пушкина остается непревзойденным. Непровзойдены и другие формы произведений Пушкина.

Пушкин прекрасно понимал значение композиции в произведениях искусства, и недаром говорил, что «единый план Дантова «Ада» есть уже плод создания гения». То же самое можно сказать и о композиции, о плане повестей и рассказов Пушкина. Важность композиции в произведении, которую рядовой читатель или зритель обычно не замечает, понимает каждый художник, в какой бы области искусства он не работал. И каждый художник должен склониться в восхищении перед совершенным мастерством и чутьем Пушкина в этом отношении.

Наконец, что поразительно в Пушкине и неповторимо — это совершенство языка. Более совершенного русского языка и богатства стиля русская литература не знает, и Пушкин по праву считается подлинным создателем современного литературного русского языка. В области стилизации Пушкин также является непревзойденным мастером. Порой эту стилизацию хочется назвать гениальной мистификацией читателя. Своей стилизацией Пушкин заставляет читателя принимать за чистую монету то, что является гениальной и мастерской подделкой под чужую речь и чужое мышление. Что при этом особенно поразительно, это неслыханное богатство и разнообразие стилей, исключительное отожествление себя со своим героем до полного слияния с ним, при несравненном речевом мастерстве. Это мастерство впервые Пушкин проявил в «Борисе Годунове», в котором по одним интонациям мы узнаем и дьяка, и царя, и беглого монаха, и патриарха, и человека из народа. Через их речь мы проникаем в их душевный мир; стилизация молитвы, сложенной при Борисе Годунове (молитвы, которую мальчик читает в доме Шуйского — «Царю небес, везде и присно сущий»), является подлинным вдохновенным чудом высокого искусства и мастерства.

После «Бориса Годунова» одно стилистическое чудо следует за другим. Изумительного стилистического совершенства Пушкин достиг в «Повестях Белкина» с их двойной стилизацией языка и тона: их ведь (как хочет убедить нас в этом Пушкин)

написал смиренный Иван Петрович Белкин, который (только своим стилем) незримо присутствует во всех пяти рассказах, и сквозь его стиль пробиваются стили тех лиц (Пушкин не спроста перечисляет их в своем предисловии к «Повестям Белкина»), со слов которых Пушкин-Белкин рассказывает:

Преданья русского семейства,
Любви пленительные сны,
Да нравы нашей старины.

Но нигде пушкинская стилизация не проявляется с такой силой, как в «Дубровском», где она дошла до подлинного «колдовства». Сколько поколений читало и восхищалось «Дубровским», принимая романтически-мелодраматический стиль его за чистую монету, за пушкинскую наивность, не замечая при этом легкой и добродушной улыбки Пушкина, подсмеивающегося над этим стилем. Нельзя обозреть всего стилистического богатства Пушкина (а «Пиковая Дама»!, а «Каменный Гость»!, а «Сцены из рыцарских времен»!, а «Египетские Ночи»!, а «Русалка»!, а сказки...), но как не напомнить о тех чудесах психологической глубины, которые Пушкин делает гриневским стилем в «Капитанской Дочке».

***

Пушкин был не только великим поэтом и стилистом. Он был человеком искусства в полном и всеобъемлющем смысле этого слова. Величие его заключалось еще в том, что он был понятен и доступен всем. Искусство и эстетическая стихия, эстетическое мироприятие — не для всех. Сам Пушкин это отмечал устами Моцарта:

Нас мало избранных счастливцев праздных, пренебрегающих презренной пользой, единого прекрасного жрецов.

Но Пушкин был «для всех», для всей грамотной России. Пушкина любят и чтут все, и любят так, как не любят ни одного поэта, музыканта, художника. Пушкин занимает особое и большое место и в русском искусстве, и в русской культуре, и в русской жизни вообще.

Чем объясняется эта всеобщая любовь к Пушкину, это общее его почитание, как национального гения?

Пушкин был не только поэтом, но и мудрым, проникновенным писателем. Литературное произведение часто читается не только как художественное произведение, но и как интересный, волнующий рассказ о жизни простых, подобных нам людей,

рассказ, затрагивающий и разрешающий различные житейские, религиозные, нравственные, социальные и прочие проблемы. Само собой разумеется, что если подобный рассказ обладает большими художественными достоинствами, он еще больше захватывает своим жизненным содержанием. Его художественность заставляет жить его героев подлинной жизнью, дает возможность читателю ощутить биение пульса этой жизни. Такое соединение художественности и жизненности необъятно богато и всеобъемлюще у Пушкина, так богато и так значительно велико, как ни у одного русского писателя. Глубокая мудрость Пушкина мирит с жизнью и учит жизни без скопческого проповедничества, без копания в глубинах психики.

Эту пушкинскую мудрость, это пушкинское не столько мировоззрение и миросозерцание, сколько мировосприятие мы все впитываем в себя из поколения в поколение — это сильнейшее противоядие против всякого сектантства и узости.

Но и помимо этого, может быть самого высокого, есть другое, что делает Пушкина особенно дорогим России, что заставляет всех русских людей любить его особою любовью и что заставляет нас так горячо желать, чтобы и Запад узнал и полюбил нашего Пушкина. Никто, ни один писатель, ни до Пушкина, ни после него, так полно, так объективно верно и так субъективно по-русски не изображал Россию, русскую природу, русское прошлое и русскую жизнь. Изображение России Пушкиным таково, что его можно назвать гением и олицетворением России: Россия изображена им в таком широком охвате, что одно чтение Пушкина дает уже знание России.

И в то же время творчество Пушкина так богато и разнообразно, что в нем с несравненной яркостью отражены и чужие миры. Они изображены Пушкиным так убедительно, художественно и в то же время в таком русском преломлении, что мы иначе, как пушкинскими глазами, иначе чем через Пушкина, и не можем их воспринимать.

***

Пушкин был не только великим творцом прекрасного. Не только гениальным русским человеком, воссоздавшим в своих творениях образы его великой родины, давший несравненные по силе и яркости картины русской жизни, передавший подлинную сущность русской души. В дополнение ко всему этому Пушкин был проникновенным наблюдателем окружающей жизни во всех проявлениях ее, и в области общественной жизни, и в областях литературы и искусства. Он был ученым историком: надо ли приводить в виде примера его «Бориса

Годунова», «Полтаву», его замечательную «Историю Пугачевского бунта», его работы по истории Петра Великого.

Публицистические статьи Пушкина полны остроты и меткости, его критические замечания, рассыпанные в журнальных статьях и в частных письмах, несравненны по своей глубине и верности. Достаточно вспомнить замечательный разбор Пушкиным «Горя от ума», данный им в письмах Бестужеву и Вяземскому из Михайловского (не забудем, что их писал двадцатипятилетний Пушкин), или полную наблюдательности и метких выводов статью «Мои замечания о русском театре», написанную им еще в 1819 году, т. е. когда ему не было еще и двадцати лет.

Раз уж я упомянул об отношении Пушкина к театру, не могу не отметить его отношения к той области театрального искусства, которая мне так близка — к балету. Мы знаем, что Пушкин любил балет и был его тонким ценителем. В первой главе «Онегина» есть строки, которые не только свидетельствуют о том, что Пушкин знал и любил балет, но которые могут дать обильную пищу для историка этого прекрасного искусства. Описывая спектакль, на который приехал Онегин, Пушкин набрасывает такую яркую картину:

Театр уж полон; ложи блещут;
Партер и кресла, все кипит;
В райке нетерпеливо плещут,
И, взвившись, занавес шумит.
Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина; она,
Одной ногой касаясь пола,
Другою медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух от уст Эола;
То стан совьет, то разовьет,
И быстрой ножкой ножку бьет.

Все в этой строфе бесподобно и значительно. Замечательно то, что Пушкин знал и любил балет, знал его корифеев, знал божественную Истомину и умел ценить ее искусство («блистательна, полувоздушна...»). С несравненным мастерством он дает описание ее танца и мы видим уже его, видим, что первая русская элевационная балерина Истомина танцевала «на пальцах» на десять лет раньше итальянки Тальони, которую Пушкину не пришлось увидеть на сцене. Все это свидетельствует, что Пушкин был знатоком и ценителем балета. Свидетельствует

об этом и замечание, вложенное Пушкиным в уста пресыщенного Онегина: «...всех пора на смену; балеты долго я терпел, но и Дидло мне надоел». Пушкину для этого нужно было, разумеется, хорошо знать, кем был в те времена для русского балета французский балетмейстер и хореограф Дидло.

Едва ли не лучшие годы карьеры Тальони прошли в Петербурге, где в течение пяти лет она блистала на сцене Мариинского театра. Но она приехала в Россию в 1837 году, в том роковом году, когда оборвалась жизнь Пушкина. И кто знает, какие образы не вдохновила бы она великому поэту, если бы судьба оставила ему возможность наслаждаться ее искусством.

* * *

Судьба Пушкина, как поэта, была к нему исключительно благосклонна, и в этом можно усмотреть благосклонность этой судьбы и к русскому читателю. Пушкин был признан сразу же при своем появлении на поэтическом поприще. Еще будучи лицеистом, он прогремел в петербургских литературных кругах своими «Воспоминаниями о Царском Селе», которые он читал на лицейском акте в присутствии Державина («Старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил»). Жуковский назвал лицеиста Пушкина «нашим молодым чудотворцем». Пушкин, быть может даже не всеми и не вполне понятый, сразу же увлек своих современников, особенно молодое поколение... Волшебство Пушкина безгранично.

И в течение 150 лет вся читающая Россия так воспиталась на Пушкине, так впитала в себя Пушкина, что он вошел в нашу плоть и кровь, что мы стали знать Пушкинскую Россию — единственную настоящую Россию. И поэтому, если Пушкин неотделим от России, то нельзя знать России, не зная Пушкина. Пушкин в нас — это самое лучшее, что есть в нас. Не потому ли мы любим Пушкина, что это самое лучшее наше.



В мае 1961 года мне посчастливилось побывать на Родине и посетить «священные» пушкинские места. Был я на Мойке, где умер поэт, был на Черной речке, где был смертельно ранен Пушкин. Посетил «Всесоюзный Музей Пушкина», как и хранилище «Пушкинского Дома» в Ленинграде, где собраны все рукописи поэта — и всей русской поэзии и литературы.

С трепетом я перелистывал чудесные, одухотворенные и неувядаемые страницы... И снова, и снова убеждался, что Пушкин вечен, и что Пушкин принадлежит не только нам, русским, но и всему человечеству...

Сергей Лифарь.

1962 г.

Предисловие (первый эскиз) к юбилейному изданию:

"Письма Пушкина к Н. Н. Гончаровой"

В мировой литературе с Библией, великими греками и Евангелием дороги человеку Данте, Шекспир, Гете и Достоевский...

В русской поэзии, да и во всей русской литературе, нет более светлого, более солнечного явления, чем Пушкин, несмотря на то, что в творчестве его можно встретить значительное количество произведений элегического характера. Пушкин сам любил «печальные напевы»:

...Печалию согрета
Гармония и наших муз и дев.
Но нравится их жалобный напев...

«Жалобных напевов», элегий довольно много в творчестве Пушкина, но так много в нем солнца, света, улыбки, так свойственно Пушкину сводить не «со здравия на за упокой», а «с упокоя на здравие», так прогоняет Пушкин набегающие тучки, что почти все, писавшие о Пушкине, неизбежно говорили о его оптимизме, о его благословении жизни:

Все благо: бдения и сна
Приходит час определенный;
Благословен и день забот,
Благословен и тьмы приход!

«Все благо» — не есть ли это настоящая исповедь оптимизма? И так солнечна поэзия Пушкина, что кажется порой, что он проходит мимо темных сторон жизни, не видит, не замечает их, как будто он скользит и пролетает мимо страшных провалов жизни... Как глубоко неверно это представление о легковесном, легкомысленном оптимизме Пушкина...

«Оптимист» Пушкин так часто говорит о том, что «на свете счастья нет», так часто не видит света в своей унылой жизни:

...печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.

«Печаль минувших дней» — в прошлом, «мой путь уныл» — в настоящем, «сулит мне труд и горе» — в будущем... Да не является ли скорее пессимистом этот великий «оптимист»?

Я слышу вновь друзей предательский привет
    На играх Вакха и Киприды,
И сердцу вновь наносит хладный свет
    Неотразимые обиды.
И нет отрады мне...

«И нет отрады мне...» — так ли говорит веселый, беспечный оптимист. И все же едва ли не правы те, кто говорит о светлой жизнерадостности поэта, постоянно повторяющего, что он не верит в счастье, что на свете счастья нет, ибо строй души Пушкина солнечный, ибо его светлая природа гармонично принимает жизнь, несмотря на то, что в ней нет счастья. Не может быть назван пессимистом тот, что сказал вещие слова:

Ты понял жизни цель: счастливый человек
Для жизни ты живешь.

Пушкин часто заглядывал в провалы жизни, но так светла, гармонична и жизненна, богата жизнью его природа, что он не задерживается на них. Так гармонична, светла и мужественна его душа, что сказав:

И горько жалуюсь, и горько слезы лью,

он тотчас же прибавляет:

Но строк печальных не смываю.

Подведя печальные итоги своему жизненному пути,

Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.

поэт тотчас же восклицает:

Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;

Ибо в страдании жизнь, ибо в жизни самое главное — жизнь, дыхание жизни, и жизнь во всем — и в радости, и в несчастье, и в страдании. Счастья нет в жизни, но — жизнь прекрасна. В самой жизни, а не вне ее Пушкин, в противоположность Толстому, ищет оправдания ее.

***

Когда думаешь о жизни Пушкина, не знаешь чему более удивляться: тому ли, что судьба так жестоко преследовала своего избранника, своего любимца, или той стойкости перед жестокими ударами судьбы, которую проявил Пушкин, светло любивший жизнь за жизнь и не перестававший повторять:

О нет, мне жизнь не надоела,
Я жить хочу, я жизнь люблю...

И удивительное дело — любивший и ценивший жизнь, Пушкин не боялся смерти и много раз спокойно смотрел в ее глаза. Пушкина не пугал ужас смерти — в самом ужасе смерти он видел «тайную прелесть»:

Так нас природа сотворила,
Противоречия полна.

Пушкин говорил своему другу Нащокину, что он всегда хотел передать душевное состояние человека, стоящего над пропастью жизни и заглядывающего по другую ее сторону и испытывающего ужас смерти. И в «Пире во время чумы» он изобразил этот ужас смерти и наслаждение этим ужасом:

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог!

«Бессмертья, может быть, залог». Может быть залог бессмертия, а может быть залог полного уничтожения «бесчувственного тела» и бесчувственной души, но неизъяснимые наслаждения в том, что «грозит гибелью» — несомненны. Потому ли, что жизнь дана для жизни, что жизнь довлеет себе и смерть находится за пределами жизни, а не продолжением ее, не ее цель, не оправдание ее и не отрицание, или по другим причинам, но чем дальше, тем спокойно-мудрее относился Пушкин к смерти — прекращению жизни. Пушкин не мучился мыслью о смерти, не боялся ее и потому редко останавливался на теме

о смерти, но и не гнал от себя эту мысль, и как-то спокойно величаво мог говорить о тихом просторе деревенского кладбища:

Близ камней вековых, покрытых желтым мохом,
Проходит селянин с молитвой и со вздохом;
На место праздных урн и мелких пирамид,
Безносых гениев, растрепанных харит,
Стоит широкий дуб над важными гробами,
Колеблясь и шумя...

Мальчиком лицеистом Пушкин восклицал:

Ах, ведает мой добрый гений,
Что предпочел бы я скорей
Бессмертию души моей
Бессмертие моих творений.

И этому юношескому восклицанию оставался верен всю жизнь — и прекрасно, мудро умирая, знал, что он не весь умрет:

...душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит.

⁂

Для Пушкина жизнь прекрасна жизнью и теми большими радостями, которые заключены в ней:

Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И, может быть, на мой закат печальный,
Блеснет любовь улыбкою прощальной.

И в жизни — в свободной, независимой ни от кого жизни — нет ничего выше и полнее этих трех радостей (а, может быть, одной — может быть все эти радости-наслаждения по существу одна единственная радость, одно единственное наслаждение): радости искусства, наслаждения искусством, красотой, радости творчества, когда человек становится богом, и радости любви.

И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья
— Вот счастье! Вот права!

Вот счастье, вот права: в независимой жизни, на воле, наслаждаться красотой божественной природы и созданием искусств и вдохновения. Красота, искусства «божественны», красота — бог: высшая, самодовлеющая ценность, никому и ничему не подчиненная. И как цель жизни — сама жизнь, ее дыхание, так цель красоты — сама божественная красота:

Но мрамор сей ведь б о г...

В этой божественности, в предельной свободе и неподчиненности самое сокровенное Пушкина, самое П у ш к и н с к о е : божественна жизнь, божественна природа, божественно искусство, божественна религия. Пушкин редко говорил о Боге, о религии, но когда говорил не сводил Бога на землю, не пробовал подменивать религию никакими моральными догмами, не заменял Бога этикой, не оступался в утилитарно-нравственную пропасть.

Жизнь для жизни, красота для красоты, искусство для искусства, религия для религии (как и любовь для любви). Какой прекрасный пантеон богов у этого великого язычника-пантеиста-христианина.

«Ты спрашиваешь, — писал Пушкин Жуковскому, — какова цель поэзии? Цель поэзии — поэзия. И потому мы, служители прекрасного бога — искусства,

Не для житейского волненья
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

Как бы тяжела ни была будничная жизнь с ее горестями и страданиями, она радостна сладкими звуками, которые жадно впитывает в себя Пушкин. Но Пушкину дана была и другая, еще большая радость, чем радостно трепетать в восторгах умиления перед чужими «созданьями искусств и вдохновенья», и с этой самой большой Радостью — радостью творчества, радостью своего создания, радостью творца, радостью человека-бога он не мог сравнить никакую другую радость, никакое другое наслаждение жизни. Ничто для Пушкина не могло сравняться с теми моментами его жизни, когда он становился богом, с теми моментами, о которых он говорил:

И забываю мир, и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,

Трепещет, и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем.
И тут ко мне идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.

«Когда находила на него такая «дрянь» (так называл он вдохновение), Чарский запирался в своем кабинете и писал с утра до поздней ночи. Он признавался искренним своим друзьям, что только тогда и знал истинное счастье».

*
**

В пантеоне Пушкина особенно разукрашен один алтарь — не бога, а прекрасной богини. Ей, прекрасной владычице, Пушкин не переставал всю жизнь приносить жертвы, она больше всех внушала своему певцу прекрасных песен.

Каков я прежде был, таков и ныне я,
Беспечный, влюбчивый...
. . . .

Уж мало ль бился я, как ястреб молодой
В обманчивых сетях, раскинутых Кипридой.
А неисправленный стократною обидой,
Я новым идолам мольбы свои несу.

Пушкин был очень влюбчив, пылок и глубок в своих любовных увлечениях, как истый Дон-Жуан, искренен и страстен в своих сердечных порывах, но остывал довольно быстро и в минуты раскаяния умел мужественно и честно признаться в своих ошибках.

«Идолы» постоянно повторяются в поэзии Пушкина: идолы внушали ему самые чистые мелодии — такие мелодии, в которых поэзия становилась музыкой, а музыка сливалась в одной высокой и трепетной вибрации с любовью, и «идолы» же заставляли его стыдиться его служения любви:

Когда на память мне невольно
Придет внушенный ими стих,
Я содрогаюсь, сердцу больно:
Мне стыдно *идолов* моих.

К чему, несчастный, я стремился?
Пред кем унизил гордый ум?
Кого восторгом чистых дум
Боготворить не устыдился?

Поэту приходилось часто содрогаться и разбивать своих идолов, но неисправляемый «стократною обидой», он никогда не подымал руку на свою богиню — на любовь, внушавшую ему такие, ни с чем не сравнимые, стихи:

Мой голос для тебя и ласковый и томный,
Тревожит позднее молчанье ночи темной.
Близ ложа моего печальная свеча
Горит; мои стихи, сливаясь и журча,
Текут, ручьи любви, текут полны тобою.
Во тьме твои глаза блистают предо мною,
Мне улыбаются, и звуки слышу я:
Мой друг, мой нежный друг... люблю... твоя... твоя.

С этой мелодией любви может сравниться разве поэма любви «Бахчисарайский Фонтан», или проникнутый любовною нежностью портрет его «милой Тани» в «Евгении Онегине», или стихотворение, обращенное к А. П. Керн — о божественном озарении всей жизни любовью:

...Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресло вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

Вся лирика Пушкина и весь лиризм его поэм проникнуты мелодией — молитвой любви, «я новым идолам несу мои мольбы», и эта молитва любви подымает его на такую высоту, на которой мы его видим рядом с Паоло, с Ромео, с Тристаном и с Пелеасом. Но трепетное сердце Пушкина напряженнее, богаче, шире сердца Тристана: бесконечны оттенки любви, которую испытывал горячий и нежный Пушкин — «страдалец чувственной любви» и «благоговейный богомолец» любви, нравившийся вакхическим нимфам «бесстыдным бешенством желаний» и молитвенно-бестелесно созерцавший святыню красоты «превыше мира и страстей».

— Из наслаждений жизни
Одной любви музыка уступает,
Но и любовь мелодия.

Порою та, которая внушала поэту эту возвышающую все существо мелодию, и не догадывалась, не знала о любви Пушкина. Чаще огонь его любви настойчиво требовал костра двух — и, прекрасно просияв в его творчестве, угасал, не зажегши костра —

Опомнись, о поэт, к чему стремишься ты?
Она не слушает, не чувствует поэта;
Глядишь — она цветет; взываешь — нет ответа.

Редко, редко его страстное, любовное пламя зажигало костер страсти, на котором сгорал он — вечно прекрасный Феникс — и она — его избранница, его идол. Пушкин всю жизнь служил богине любви и какие бесконечно-разнообразные формы принимало его служение, его культ, но всегда его служение было Киприде, только Киприде — любви, бескорыстной любви... С 1826 года он пытается перестать быть в любви только любовником, хочет стать супругом, хочет удержать крылатого божка из свиты Афродиты, заставить его служить себе...

***

С 1826 года по 1828 Пушкин несколько раз порывался ограничить свою жизнь «домашним кругом», но это ему никак не удавалось: влюбчивый Дон Жуан за этот период времени переменил целый ряд невест. Осенью 1826 года он влюбился в С. Ф. Пушкину, когда она была уже невестой Пашина. Тем не менее это не остановило влюбленного Пушкина и он через своих друзей пытался расстроить свадьбу С. Ф. Пушкиной и добиться ее руки. Убедившись, наконец, в тщетности своих домогательств, Пушкин быстро остыл и увлекся Е. Н. Ушаковой, затем не менее пылко и не без успеха добивался руки А. А. Олениной, но в последнюю минуту отказался связать свою жизнь с этой девицей...

Пушкина расхолаживали, главным образом, перспективы будущей семейной жизни, вернее, ответственность за будущее благополучие семьи. Не последнюю роль в этом играла также и боязнь лишиться свободы во имя брачных уз.

В 1828 году, на балу в Москве, он впервые увидел свою будущую невесту Наталью Николаевну Гончарову и страстно, со всем пылом своего неукротимого темперамента, влюбился в нее. Влюбиться было немудрено: Пушкину было без малого тридцать лет, а Наталье Николаевне едва минуло шестнадцать.

Кроме того, девица Гончарова, по мнению современников, была исключительно красива. Новое увлечение Пушкина оказалось глубокой и проникновенной любовью, и через несколько месяцев, в апреле 1829 года, началось мучительное сватовство Пушкина. Первое предложение его было принято матерью Натальи Николаевны очень холодно, однако определенного отказа он не получил и 1-го мая уехал на Кавказ, сохранив в сердце своем образ прекрасной девы и надежды на успех в будущем.

Вернулся Пушкин в Москву осенью 1829 года и здесь начался самый неприятный и тревожный период его жениховства: в Москве, в доме Гончаровых он был принят матерью невесты Натальей Ивановной очень недружелюбно, ибо в это время у нее появилась надежда выдать дочь замуж за князя Мещерского.

С тяжелым чувством Пушкин покинул дом Гончаровых и уехал в Петербург и только в начале 1830 года он узнал, что надежда Натальи Ивановны выдать свою дочь за князя Мещерского не оправдалась. Возобновив свои домогательства, Пушкин, наконец, в апреле получил согласие матери Гончаровой на брак ее дочери с ним. Однако мучения его не кончились: Наталья Ивановна старалась оттянуть свадьбу на неопределенный срок, повидимому, надеясь подыскать для дочери более «солидного» претендента: материальные дела Гончаровых были очень плохи, а Пушкин не был богат и его положение в обществе, по тогдашним понятиям, не было блестящим. Между Пушкиным и его будущей тещей часто происходили бурные и острые столкновения, приводящие Пушкина в отчаяние. Дело дошло почти до полного разрыва, но, когда Пушкин осенью 1830 года уехал в Болдино для устройства своих хозяйственных дел, его отъезд, повидимому, ускорил окончание дела: Наталья Николаевна первая написала ему примирительное письмо, не считаясь с настроением своей матери. Пушкин возвратился в Москву и в феврале месяце 1831 года состоялась свадьба Пушкина в Москве в церкви Вознесения у Никитских ворот. Под венец Пушкин шел невеселым, ибо мало надеялся на счастливую семейную жизнь в будущем...

На свете счастья нет, но есть покой и воля.

*
* *

Жениховство — обычно радостная полоса в жизни человека, но у Пушкина это был один из самых тяжких и неприятных периодов. Это также подтверждается и содержанием тех

нескольких писем его к невесте, которые удалось обнаружить заграницей и которые ныне публикуются в книге «Письма Пушкина к Н. Н. Гончаровой», изданной по случаю столетней годовщины со дня смерти поэта.

Изданные ныне письма относятся к летним и осенним месяцам 1830 года и написаны им частью из Петербурга, частью из Болдино.

Невеселое жениховство было у Пушкина. За много месяцев его сватовства только два коротких промежутка были радостными. Первый — в 1829 году, когда Пушкин, полный надежд и ожиданий счастья, уехал на Кавказ и там создал одну из самых прекрасных и светлых песен любви:

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой... Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит — оттого,
Что не любить оно не может.

Второй радостный, но очень короткий период времени совпал с Пасхой 1830 года, когда Пушкин стал официальным женихом.

Исполнились мои желания. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец.

На этом я обрываю мой этюд...

1934—1935.

Рио-де-Жанейро — Париж. *Сергей Лифарь.*

POUCHKINE ET LES MUSICIENS (*)

Il n'est pas possible de résister à l'enchantement qui émane des écrits de Pouchkine, qu'il s'agisse de prose ou de poésie. L'aisance parfaite, la légèreté, la musique limpide de son vers et sa création du rythme, sont de vrais miracles de la langue humaine, si pauvre de musique et d'expression. Son génie, l' « émotion lyrique », merveilleusement transmise par des formes d'une beauté parfaite et musicale, ont inspiré ceux qui sont universellement reconnus comme les créateurs de la musique russe. Tous ont répondu à l'appel de Pouchkine, tous ont voulu revivre, ressentir et redire ce qu'il avait vécu, senti et dit.

Chacun, en Occident, connaît Pouchkine à travers Glinka, le père de la musique russe, qui a chanté les touchantes amours de « Rousslan et Ludmila ».

Par la suite, Moussorgsky a immortalisé pour le monde entier le « Boris Godounow » de Pouchkine, dont le cri de douleur, faîte d'affreux remords, n'a pu être couvert par les sons majestueux et triomphants des cloches du Kremlin.

Traducteur en musique de « Mozart et Salieri », Rimsky-Korsakoff a chanté le conte si pouchkinien du « Tzar Saltan » pour évoquer ensuite, dans les airs langoureux du « Coq d'Or » la proximité de l'Asie, dite l'Orient.

Tchaïkowsky, chantre de l'Amour et de la Tristesse, s'est inspiré, lui aussi, de Pouchkine : « Eugène Onéguine » et « La Dame de Pique » nous enchantent et énivrent les cœurs des jeunes du « Doux mal d'aimer » qui émane de leurs soupirs tendres, passionnés ou profonds. Nous entendons Pouchkine à travers la trame musicale d' « Aleko » et du « Chevalier avare » de Rachmaninoff, nous le devinons dans « Doubrovsky » de Napravnik, dans « Angelo » et « La fille du Capitaine » de César Cui. Enfin, Stravinsky, à son tour, a cherché un nouveau sentier sonore vers la « Petite maison de Kolomna » de Pouchkine.

Le programme de ce concert, qui a pour but de commémorer le centenaire de la mort du plus grand génie russe a été composé d'œuvres musicales et chorégraphiques inspirées par lui.

S. L.

(*) Texte de Serge Lifar dans le programme des spectacles commémoratifs de Pouchkine. Paris, 1937.

ПУШКИН И МУЗЫКАНТЫ*)

Невозможно не поддаться очарованию, которое навевают произведения Пушкина, — как прозы, так и поэзии. Необычайная легкость, непринужденность, кристальная музыка его стиха и создание ритма — это поистине чудо человеческого языка, такого бедного музыкой и выразительностью. Его гений, «лирическое волнение», прекрасно переданное в формах совершенной красоты и музыки, вдохновляли тех, кто всемирно признаны творцами русской музыки. Все ответили на зов Пушкина, все захотели снова пережить, перечувствовать и пересказать то, что пережил, чувствовал и сказал он.

Каждый, на Западе, знает Пушкина через Глинку — отца русской музыки, воспевшего трогательную любовь Руслана и Людмилы.

Мусоргский, позднее, обессмертил для всего мира «Бориса Годунова» Пушкина, крик боли которого — верх страшных угрызений совести — не смог быть покрыт величественными звуками и торжественными колоколами Кремля.

Римский-Корсаков, переведший на музыку «Моцарта и Сальери», воспел чисто «пушкинскую» сказку «Царь Салтан», а также вызвал в памяти — в медлительных ариях «Золотого Петушка» — близость Азии, называемой Востоком.

Певец Любви и Печали — Чайковский тоже вдохновился Пушкиным: «Евгений Онегин» и «Пиковая Дама» чаруют нас и опьяняют юные сердца «горькой сладостью любви», которая слышится в их нежных вздохах, страстных и глубоких.

Мы слышим Пушкина через музыкальную ткань «Алеко» и «Скупого Рыцаря» Рахманинова; мы угадываем его в «Дубровском» Направника, в «Анжело» и «Капитанской дочке» Цезаря Кюи. Наконец, Стравинский, в свою очередь, нашел новый музыкальный путь к «Домику в Коломне» Пушкина.

Программа этого концерта, имеющего целью чествование столетия смерти величайшего русского гения, составлена из музыкальных и хореографических произведений, вдохновленных им.

С. Л.

---

*) Текст С. Лифаря, помещенный в программе одного из юбилейных Пушкинских спектаклей в Париже.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Новое о Пушкине за рубежом

НОВОЕ О ПУШКИНЕ ЗА РУБЕЖОМ

В этом очерке о моей пушкиниане следует сказать несколько слов о некоторых моих находках, которые мне удалось приобрести, и тех, которые не вошли в мои собрания.

К числу последних относятся пистолеты, которые были употреблены во время рокового поединка Пушкина с Дантесом и показанные на организованной мной выставке «Пушкин и его эпоха», в Париже в 1937 г. В 1952 году они были проданы в «Почтовый музей» небольшого городка Франции, Le Haut-Chantier Limeray в департаменте Indre-et-Loire. Картина Брюллова «Графиня Самойлова с негритенком» тоже была продана, но в один из музеев Соединенных Штатов Америки.

Не посчастливилось мне приобрести оказавшийся в Париже автограф стихотворения Пушкина «На холмах Грузии», сочиненного поэтом на Кавказе в 1829 г. Этот редчайший автограф приобретен в 1963 г. коллекционером А. Полонским.

Одну особенную реликвию мне удалось приобрести. Это — не рукопись и не картина, и тем не менее, глядя на нее, в воображении возникает великий и дорогой образ поэта. Это предмет из его обстановки, то, что окружало его, на что он может быть часто смотрел. Это — занавески для окон, которые украшали квартиру Пушкина на Мойке и позже были привезены в Михайловское.

Приобрел я эту реликвию при следующих обстоятельствах: в июне 1961 года я получил от В. Сувчинского из Марли-ле-Руа письмо, в котором он писал:

Зная, что все, что касается Пушкина Вас живо интересует, сообщаю следующее. Моя покойная сестра владела имением в бывшей Виленской губернии. Там она познакомилась с вдовой Г. А. Пушкина, сына поэта, у которой было имение «Меркутье» тоже в Виленской губернии. Эта последняя, желая

оказать внимание моей покойной сестре, подарила ей материю, сказав, что она, вместе с другими вещами, была вывезена в свое время из Михайловского. Материя эта — шелковая ткань на холщевой подкладке. Она красивого розово-лиловатого цвета..., и т. д.

Я, разумеется, тотчас же сделал необходимые шаги, чтобы вступить в связь с автором этого письма, и в результате получил от него драгоценную материю в сопровождении письма, в котором он писал:

Посылаю Вам для Вашего музея им. Пушкина материю, которая, как я раньше писал, по словам вдовы сына Пушкина, находилась в имении «Меркутье» Виленской губернии, которое принадлежало семье Пушкиных. Буду очень рад, если это скромное преподношение для Вашей коллекции доставит Вам удовольствие».

И, наконец, моя последняя находка — собственноручное письмо Пушкина.

О его существовании я знал давно и давно уже «охотился» за ним. Целый ряд обстоятельств мешал мне приобрести его и только в 1965 году я стал его обладателем...

Письмо это находилось в семейном архиве гр. Витте-Нарышкиных. Я получил его в обмен на бывшие в моей коллекции исторические (конца XVII в.) портреты Петра Великого и его матери Наталии Нарышкиной.

Письмо Пушкина написано в 1835 году. Кому? Кто был в данном случае адресатом великого поэта? Это тем более интересно, что адресат, или точнее адресатка Пушкина была, повидимому, его хорошей знакомой, чтобы не сказать больше.

Письмо написано на двух страницах почтовой бумаги обычного формата. Вот его полный текст:

Мой Ангел, как мне жаль, что я Вас уже не застал, и как обрадовала меня Евр. Ник., сказав, что Вы опять собираетесь приехать в наши края. Приезжайте, ради Бога, хоть к 23-му, у меня для Вас три короба признаний, объяснений и всякой всячины. Можно будет, на досуге, и влюбиться. Я пишу Вам, а наискось от меня сидите Вы сами во образе Марии Ивановны. Вы не поверите, как она напоминает прежнее время.

И путешествия в Опочку и прочие. Простите мне мою дружескую болтовню.

Целую Ваши ручки

А. П.

В мою Пушкиниану входят автографы Державина, Вяземского, Некрасова, а также манускрипты Глинки. Один из них на шести страницах особенно интересен тем, что он имеет прямое отношение к Пушкиниане. На первой странице музыкальной партитуры, рукой композитора написано:

«МЕРИ»

Песня из драматической сцены А. С. Пушкина.

Пир во время чумы

Посвящена М. С. К.
Варшава, 23 декабря 1849 г.

***

Помимо письменных и литературных документов, в моей коллекции пушкиниста есть несколько картин и портретов, относящихся к Пушкину. Такова картина, изображающая директора Царскосельского лицея Федора Григорьевича Гольтгоера с сыном Константином (Ф. Г. Гольтгоер был директором лицея с 1824 до 1840 года, т. е. уже после Пушкина). Другая картина, «Одалиска» Брюллова, драгоценна тем, что она принадлежала когда-то Пушкину. В Париже она входила в коллекцію Онегина, как и картина братьев Чернецовых (1837 г.) «Пушкин в Бахчисарайском дворце», (о которой я уже писал).

Перечислю еще и другие художественные ценности, входящие в мои Собрания и связанные с Пушкиным.

— Раевский (миниатюра).

Портрет героя Отечественной войны 1812 г. Раевского. Как известно, Пушкин был связан с семьей Раевских дружбой.

— Истомина (Неизвестный портрет. Репр. в красках.).

Оригинал был передан Брониславой Нижинской в Театральный Пушкинский музей в Москве.

— Пушкин на Украине (масло).

— Альбом Марии Тальони.

Этот альбом был предподнесен балерине М. Тальони во время ее гастролей в С.-Петербурге в 1837 г.

— Пушкин (рисунок пером). Ю. Анненкова.

— «Медный Всадник» (наводнение). А. Бенуа.

Картина была преподнесена мне художником со следующей надписью:

A mon cher Serge Lifar

en souvenir des belles Expositions, organisées par lui et en témoignage de notre commune dévotion pour le grand Pouchkine.

A Paris, le 25 *décembre* 1952.

Alexandre Benois.

— Иллюстрации к произведениям Пушкина худ. М. Добужинского, А. Бенуа, Ю. Анненкова.

Ценнейший автограф Пушкина «Гусар», находящийся в библиотеке города Авиньона, на юге Франции, воспроизведение которого было показано на Пушкинской Выставке в Париже в 1937 г., я надеюсь приобрести.

Если он войдет в мою Пушкиниану, то только путем «выкупа» — обмена на редчайшие автографы французских классиков XVII века, которые входят в мои Собрания.

***

К числу ценных документов моей пушкинской коллекции следует отнести автографы французских писателей и ученых, которые я получил для намечаемого мной в 1962 г. чествования Пушкина по случаю 125-й годовщины смерти поэта.

Академик Жан Кокто писал мне:

Пушкин обладает в большей степени, чем какой-либо другой поэт привилегией лишь кажущейся смерти. Пуля, которая его сразила, дала ему бессмертие на земле и на небе. С несравненным изяществом, его произведения, непереводимые благодаря их единственности, легко распространятся по всему миру, победят множество людей, все более и более относящихся к его гению, как привилегии избранных. У Пушкина, большого барина и человека из народа, эти два качества сочетаются и дополняют одно другое, образуя феномен, способный победить земные разногласия. Он царит над благодарными душами, к какому бы лагерю они не принадлежали.

Жан Кокто,
член французской Академии.

Откликнулся, по моей просьбе, на годовщину смерти Пушкина и известный французский ученый, директор Славянского Института Андре Мазон, автор многих трудов по истории русской литературы. Он писал:

Пушкин прозаик, романист — вызывал живое восхищение в моей молодости. «Капитанская дочка», «Выстрел — казались мне, и кажутся до сих пор, неповторимыми образцами. Пушкин поэт был более трудным для восприятия: переводы его искажали. Потом, наконец, один мой друг дал мне великолепную адаптацию, которую он сделал для «Евгения Онегина». Тогда я понял и почувствовал красоту лирической поэмы. Вся великая русская литература XIX века, от Гоголя до Чехова, через Толстого и всех других вышла из Пушкина. Не считая и многих французов, как, например, Мериме.

Андре Мазон

Академик Жан-Луи Водуайе прислал мне дружеское письмо, в котором откровенно признался, что он неспособен написать и десяти строк о Пушкине. Он рекомендовал мне в то же время обратиться к его «собрату и другу», как он выразился, академику Анри Труайа (русскому по происхождению). «Вот человек, который Вам нужен» — писал он. Через три дня у меня уже было письмо Труайа. Привожу его здесь:

Сверкающие влюбленности, страсть к игре, дуэли, веселье и слезы, — Пушкина влекли к себе попеременно то жажда работы, то искушение удовольствиями. Беспорядочное существование и постоянно крайний риск. Произведения, наполненные чувством меры и большой чистоты. Если бы он писал так, как жил, он был бы большим поэтом романтиком, несравненным в своем вдохновении. Если бы он жил так, как писал, то он был бы человеком уравновешенным, чувствительным и счастливым. Он не был ни тем, ни другим. Он был Пушкиным. На заре русской литературы, пророческой и взволнованной, стояло это молодое существо в ореоле радости.

Анри Труайа,
член французской Академии,
Париж, 1962, 12 марта.

Выдающийся французский адвокат и академик Морис Гарсон с готовностью отозвался на мой призыв написать несколько страниц о Пушкине:

Дорогой друг, — писал он мне. — *Вы можете рассчитывать, что я Вам напишу небольшую статью о Пушкине. Сообщите мне только, какого размера Вы хотели бы иметь эту статью.*

Я привел здесь лишь некоторые из полученных мною отзывов по случаю 125-ой годовщины смерти Пушкина. Особенно дорог мне отзыв Жана Кокто, человека огромной культуры, тонкого поэта и художника. Я храню о дружбе с ним самые теплые воспоминания. Когда он умер — так неожиданно — 14 октября 1963 года у себя в Милли в 60 километрах от Парижа, я положил ему в гроб горсточку земли с Черной Речки — с того места, где был убит Пушкин. Я взял эту землю, когда ездил в Ленинград в 1961 году.

Несколько другого характера документ, имеющийся в моей коллекции. Он тоже в некоторой своей части имеет прямое отношение к Пушкину...

Документ этот — письмо поэта Н. Минского к С. П. Дягилеву, в котором Минский рассказывает о своей встрече с Тургеневым. При этой встрече Тургенев рассказал Минскому о том, что он в молодости имел случай видеться с Пушкиным. Это живое свидетельство, живая преемственность от Пушкина до нашего современника так взволновала Дягилева, что он просил Минского все изложить письменно. В результате он получил от него письмо, которое украшает теперь мою коллекцию и которое я привожу здесь с небольшими сокращениями мест, не имеющих отношения к интересующей нас теме. Привожу ниже эти страницы:

15 февраля 1928 года.

Дорогой Сергей Павлович,

Вот подробный — насколько могу припомнить — рассказ о заинтересовавшем Вас моем посещении Тургенева летом 1881 года.

«У меня было рекомендательное письмо от Стасюлевича к Тургеневу, который с похвалой отозвался о первых моих стихах, напечатанных в «Вестнике Европы». Я приехал к Тургеневу в Буживаль, где он жил на даче у Виардо. Консьерж сказал мне, что Тургенев в саду, в беседке. Я постучался в беседку и вошел. Навстречу мне поднялся высокий старик, в котором я по портретам «узнал» Тургенева, и обратился к нему по-русски. Он улыбался, по-французски ответил мне, что он Виардо и что Тургенева я найду в беседке рядом.

Тут меня встретил старик не только высокого, но гигантского роста, широкоплечий, с густыми седыми воло-

сами, остриженными, по-русски в скобку, с седой круглой бородой и простым лицом славянского, вернее крестьянского, типа.

Первым делом, увидав меня, Тургенев схватил щетку и, сильно нагнувшись, стал меня чистить, так как шел небольшой дождь и я был без зонтика. Я услышал произнесенное надо мной странно тонким, при такой громадной фигуре, голосом следующее поучение:

— Всегда, куда бы вы ни отправлялись во Франции, берите с собой зонтик.

Мы сели и началась беседа, длившаяся без перерыва часа 3—4, при чем говорил почти все время один Тургенев...

Во время этого разговора Тургенев и говорил Минскому про свою встречу с Пушкиным. В какой-то момент разговора, пишет Минский, он «стал сыпать литературными анекдотами и характеристиками с особым искусством и блеском».

Прежде всего рассказал он о своей единственной встрече с Пушкиным:

— Видел я его мельком в книжной лавке Смирдина, когда он уходил, надевая шинель. А какие, по Вашему, у него были волосы?

Я ответил, что, вероятно, темные, судя по его происхождению.

— Ошибаетесь. У Пушкина были волосы русые и курчавые.

И тут же, взяв карандаш и бумагу, он нарисовал очень похожий профиль Пушкина и отдал мне рисунок. Насколько я помню, я подарил рисунок известному граверу Матэ и он должен где-нибудь сохраниться...

*
**

Должен тут, отступая несколько от «пушкинской темы», прибавить, что цитированное выше письмо Минского к Дягилеву, — весьма обширное, на пяти страницах, представляет собою исключительный историко-литературный интерес. В нем имеются чрезвычайно резкие отзывы Тургенева и о Достоевском и о других писателях. Тургенев в выражениях не стеснялся. Приведу все же некоторые его отзывы:

Тургенев стал говорить, — пишет Минский, — *о молодых русских писателях, с большим сочувствием отозвался о Гаршине, которого сравнивал с Мопассаном.*

— *Обратите ваше внимание,* — сказал он, — *на молодого писателя, автора рассказа «Степь». Фамилия его Чехов. Это настоящий талант.*

Говоря о Толстом, Тургенев сказал:

На меня клевещут, будто я старался утаить от французов творчество Толстого, и будто на вопрос, что следует перевести из его сочинений на французский язык, указал на сравнительно слабое «Семейное счастье». Неправда! По моему совету была переведена «Война и мир» и перевод романа я дал прочесть Флоберу. Увидев два громадных тома, Флобер припомнил анекдот о крестьянке, которая, увидев прописанную ей ванну, воскликнула: «Неужели я должна все это выпить». Но во время чтения Флобер несколько раз присылал мне записки с выражением восторга перед русским Гомером.

***

В 1939 году, в Париже вышла русская книга А. Плещеева «Мое время». Маститый автор, по моей просьбе, посвятил Пушкинской теме главу и описал торжественное открытие в Москве в 1880 г. памятника Пушкину, на котором он сам присутствовал.

ПУШКИНСКИЙ ПРАЗДНИК В МОСКВЕ (1880 г.)

Читатель, если вы натолкнетесь в этой книжке на какие-нибудь повторения того, о чем я писал раньше, — прошу быть ко мне снисходительным.

Я позволил себе поместить здесь более обстоятельный и подробный вариант о Пушкинском празднике в Москве (1880 год). После выхода в свет моей книги: «Что вспомнилось», в памяти начали воскресать некоторые новые, не записанные подробности, и мне казалось, что я должен ими поделиться, чтобы сберечь каждую мелочь, каждую, хотя бы и незначительную черточку былой, незабываемой картины.

Все это — история, и история драгоценная для нас, потому что с ней связано имя Пушкина прежде всего, и имена Тургенева, Достоевского и др.

Открытие памятника А. С. Пушкина в Москве было незабываемым праздником русской литературы.

Москва взяла в свои руки организацию этого культурного торжества и, как всегда, устроила все в широком масштабе. Разослав писателям и журналистм разных газет приглашения, Городское Управление предупредило, что для них будут оставлены помещения в гостиницах Москвы и что в определенные дни из С.-Петербурга в Москву отойдут специальные поезда для приглашенных гостей. И поезда, и помещение Москва предоставила гостям бесплатно.

Среди гостей были И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Я. П. Полонский, А. К. Майков, А. Н. Плещеев, Д. В. Григорович и другие. Еще в вагоне Николаевской дороги писатели, разделившиеся на маленькие группы, обсуждали значение московского празднества для русской литературы вообще, и значение открытия памятника ее гениальному родоначальнику, гордости России. Полонский, Майков и Плещеев читали один другому стихи, посвященные Пушкину.

На лицах всех пассажиров вагона можно было прочесть радостное настроение, какое-то, сказал бы, благоговение. Не помню кто именно, но помню, что писателей сопровождал делегат города Москвы. Все было организовано «по-московски», как говорил Достоевский.

Мне удалось ехать вместе с журналистами, в том же вагоне. Корреспонденты принялись за работу тут же, сообщая подробности о «литературных» поездах...

На Николаевском вокзале в Москве приезжавших гостей встречал городской голова и кое-кто из московских писателей и журналистов. Были приготовлены экипажи. Словом, никаких личных забот и хлопот никому не предстояло. Ф. М. Достоевский и мой отец А. Н. Плещеев получили комнаты в Лоскутной гостинице, где почти жил у отца и я, навещая его постоянно. Тут же не раз я встречал на лестнице Достоевского, поднимавшегося с большим усилием во второй этаж. Управляющий гостиницей Шерер и все служащие в пояс кланялись почетным гостям. У каждого гостя, в его комнате, на столе стояли записи дней и часов празднества, пригласительные билеты на торжественные заседания Общества любителей российской словесности в зале Российского Благородного Собрания, на торжественное заседание в Московском университете и т. д. Билеты для присутствия на открытии памятника на площади у Страстного монастыря были присланы всем в Петербург.

На Тверской улице, около гастрономического магазина Белова, я увидел высокую фигуру, немедленно узнанную прохожими. Это был Иван Сергеевич Тургенев. Где жил в Москве

Тургенев, я точно не помню, но он сказал, что отказался от приготовленных ему комнат в гостинице и остановился у своих московских друзей на Пречистенском или Никитском бульваре.

В лавочках и магазинах, а также у продавцов на улице можно было видеть медали с изображением памятника Пушкину, бумагу с портретом поэта, изображение домика Пушкина в селе Михайловском, алебастровые изображения памятника, фотографии, альбомы и всевозможные безделушки, которые я, лет десять назад, увидел еще раз в пушкинском музее Онегина в Париже. К Онегину меня привел его приятель, библиофил и знаток литературы, В. П. Катенев.

Площадь перед Страстным монастырем выглядела парадной, кое-где висели флаги, гирлянды из кленовых листьев, городские гербы и пр. Часть площади, примыкающая к памятнику, затянутому парусиной, была отгорожена. Сюда допускали только получивших пригласительные билеты. Народ толпился вокруг этого места с раннего утра. День был ясный и солнечный. Представители Городской Думы, с бантиками в петлицах, помогали полиции в заботах о порядке.

Начали собираться гости. Некоторые из них, явившиеся рано, пользовались случаем, чтобы осмотреть Страстной монастырь, в галерее которого в оконном пролете я застал Тургенева, Полонского и Плещеева.

К памятнику собрались местные власти. Пришел А. А. Пушкин, сын поэта, в мундире одного из гусарских полков, наконец, прибыл принц Александр Петрович Ольденбургский, которому поручено было открыть памятник поэту в Москве. Он занял место впереди всех, а недалеко от него стоял А. А. Пушкин, которому множество лиц пожимали руки, приветствуя с предстоящим торжеством.

Писатели распылились в толпе. По знаку, данному принцем Ольденбургским, который, если не ошибаюсь, перерезал лично какой-то шнурок, спала пелена, и перед нами выросла бронзовая фигура поэта... Все обнажили головы. Взволнованный смотрел на памятник А. А. Пушкин, по лицу которого нет-нет, да скатывались слезы.

Принц Ольденбургский жал ему руку и что-то говорил, А. А. Пушкин благодарил его.

Сходство лица А. А. Пушкина с лицом его отца, запечатлевшимся в нашей памяти по портретам, представлялось исключительным. Самое сознание, что перед нами сын Пушкина,

заставляло волноваться. Мы переживали с чувством глубокой радости этот праздник русской литературы. Благоговение охватило всех присутствующих.

Торжественные заседания Общества любителей российской словесности в доме Российского Благородного Собрания были сердцем всего пушкинского праздника в Москве. Едва ли не в первый раз в жизни русское общество очутилось с глазу на глаз почти со всеми корифеями своей литературы во главе с Тургеневым и Достоевским. Встреча эта не может изгладиться из памяти тех, кто ее видел. Встреча была бурная, трогательная и величественная.

Появление Тургенева и Достоевского ознаменовалось небывалыми овациями. Все, как один человек, встали со своих мест.

— Оставайтесь с нами! — кричали Тургеневу.

На эстраде зала Благородного Собрания полукругом стояли стулья, на которых во время заседания сидели писатели и другие лица, имевшие близкое отношение к торжеству. Участвовавшие выходили с левой стороны от публики из особой комнаты, отведенной в их распоряжение.

Вершиной Пушкинского праздника в Благородном Собрании была, конечно, знаменитая речь Федора Михайловича Достоевского.

Писатель читал ее, стоя у маленькой кафедры, а не сел за стол, как читали свои произведения другие.

С того момента, когда стихла овация, встретившая писателя, и Федор Михайлович приступил к чтению, — бурные аплодисменты прерывали речь, и писателю приходилось читать ее с перерывами. Аплодисменты и восторженные крики росли и росли. Все были потрясены словами и убедительностью Достоевского.

Незабываем был момент, когда Достоевский, упоминая о художественном облике Татьяны, подобного которому он не знал в нашей литературе, словно спохватился, повернул голову, взглянул на сидевшего позади И. С. Тургенева и добавил: «И вот еще... и вот еще... образ Лизы в «Дворянском Гнезде» И. С. Тургенева...».

Аудитория опять прервала Достоевского, и зал огласился криками и аплодисментами по адресу, как это было ясно, Тургенева. Иван Сергеевич не принял этого на свой счет и аплодировал Ф. М. Достоевскому. Отношения между этими двумя писателями не были тогда близкими, и кто это знал — а знали почти все — были потрясены происходившим. Словно вот они обнялись и расцеловались...

В зале потом говорили, что И. С. Тургенев прослезился, но сумел сдержать свои нервы.

Когда Достоевский закончил свою речь, восторги публики перешли границы. Толпа, особливо молодежь, бросилась к эстраде, крича... Шум несся страшный, как будто рычало невиданное чудовище... Овация стихла лишь тогда, когда объявили, что Достоевский чувствует себя плохо и просит извинения, что не в силах выйти.

Потрясающее впечатление, произведенное речью Достоевского, перенеслось с быстротой молнии за стены Благородного Собрания в город, и можно без преувеличения сказать — выросло в историческое событие. Только о Достоевском в Москве и говорили. Казалось, весь праздник Пушкина заключался именно в этой речи, а прочее отодвинуто на задний план.

Иван Сергеевич Аксаков, очутившийся в самом невыгодном положении, потому что ему приходилось говорить после Достоевского, начал с того, что заявил:

— Федор Михайлович сказал все, что можно было сказать... Большего не скажешь... Добавить нечего.

За три года перед Пушкинским праздником мы хоронили в петербургском Девичьем монастыре Николая Алексеевича Некрасова.

Перед открытой могилой поэта, его напутствовал словом Ф. М. Достоевский, напомнивший толпе, что Некрасов был первым после Пушкина. Несколько голосов молодых людей, окружавших могилу и взобравшихся на деревья соседних могил, прервали оратора восклицаниями:

— Он для нас выше Пушкина! Пушкин и Лермонтов — это «байронисты»!

— Нет, он ниже Пушкина! — оборвал их твердым голосом Федор Михайлович.

Спор не разгорелся и быстро смолк, а Достоевский продолжал речь.

Впрочем, ему кричали еще: «Федор Михайлович, запахните шубу... Мороз, вы простудитесь!». Достоевский подчинился и, держа в руках шапку, размахивал ею, продолжая речь.

Помню, как тогдашние фельетонисты и публицисты, вроде Григория Градовского, хотели раздуть шумиху из пререканий между молодежью и писателем, доказывая, что молодежь была «возмущена» Достоевским. Это было настолько преувеличено и неправдоподобно, что успеха не имело. Можно было не соглашаться с Достоевским, но Некрасова он вспоминал с любовью и скорбью, совершенно искренними... Федору Михайловичу никакого скандала молодежь не делала.

И вот какое противоречие!

Русская учащаяся молодежь уверяла, что Пушкин только «байронист», а три года спустя, славословила в той же Москве того же Достоевского, вознесшего Пушкина на еще более недосягаемую высоту.

Во время антракта на торжественном заседании, после речи Достоевского, Д. И. Григорович сообщил, что Ф. М. Достоевский чувствует себя лучше и желает проститься с московским обществом.

Снова с левой стороны показалась утомленная фигура Достоевского. Выйдя вперед, Достоевский низко кланялся, а толпа неистово кричала... Уверяли, но я не видел, что Достоевскому несколько лиц целовали руки. Видел я лишь, как множество людей, окружив Федора Михайловича при уходе его с эстрады, жали ему руки. Он очутился буквально у живых стен из публики.

Да... я видел и помню ясно этот праздник русской литературы под лучами пушкинской славы...

Вся Москва говорила только о речи Достоевского. После своего триумфа, Достоевский возвратился в гостиницу, как рассказывали ее служащие, слабым и совсем уставшим, с трудом и даже с помощью швейцара и управляющего Лоскутной поднимался по ступенькам.

На другой день, или на третий — не помню, — в Москве, особливо в кружках интеллигенции, рассказывали подробности об обеде, данном в честь гостей. Я не был на этом обеде и лишь смутно припоминаю рассказы о нем.

Обед ознаменовался скандалом: М. Н. Катков поднял бокал за единение писателей, за прекращение раздоров и деления на либералов и консерваторов, словом, за примирение. И. С. Тургенев не протянул руки Каткову, встал и вышел из-за стола. За ним последовали все его единомышленники.

Передавали, что Тургенев возмутился и сказал, что шансы их не равны, консервативная печать пользуется полной свободой и пишет все, что ей угодно, а либеральной зажимают глотку. Разумеется, московское общество разделилось на две части, и та часть, которая сочувствовала Тургеневу, оказалась куда больше, нежели почитатели Каткова.

Факты эти, повторяю, сохранились в памяти моей туманно.

Покидая Москву, Ф. М. Достоевский будто бы настойчиво отказывался воспользоваться предложенным гостеприимством города и желал во что бы то ни стало заплатить за свой пансион в Лоскутной.

Прошло 65 лет со времени Пушкинского торжества в Москве, и, я думаю, читатель простит мне, если вкралась какая-нибудь неточность. Едва ли, впрочем, она есть.

Кроме Тургенева, Достоевского и Аксакова, выступали А. Н. Майков, Я. П. Полонский, А. Н. Плещеев и др. Аудитория принимала всех горячо, заставляя поэтов повторять стихи.

Первые дни после праздника, около памятника Пушкина толпился народ и продолжалась продажа разных сувениров о торжестве.

Александр Плещеев.

⁂

Деятельность моя как пушкиниста не ограничилась, конечно, одним собирательством. О моей издательской деятельности я уже упоминал выше, когда говорил об издании писем Пушкина к невесте. Говорил я также об организации Пушкинской выставки, пушкинских вечеров и пр. Неоднократно мне приходилось также выступать с докладами по тому или другому поводу, в тех или иных городах, а также в Сорбонне. 14 декабря 1958 года в Париже, в Объединении бывших студентов С.-Петербургского Университета я прочел доклад на тему: «Влияние русской культуры на мировую». В этой большой теме я охарактеризовал значение Пушкина следующими словами:

«*Да. Пушкин — это Солнце России, это гений, окрыливший и оплодотворивший русскую культуру в ее основных проявлениях — литературе и искусстве.*

Пушкиным питались, взращивались, создавалась под сенью Пушкинского гения русская Литература XIX века, та Литература, которая оказала неоспоримое влияние на мировую Литературу...».

В 1962 году, в связи с 125-летием со дня смерти Пушкина, я сделал доклад в Пушкинском клубе в Лондоне на тему «Пушкин — солнце России». Этот же доклад я должен был прочесть в Париже, но к тому времени я не смог получить письмо Пушкина, о котором я говорил выше и доклад мой пришлось отменить.

Отмечу еще проект сооружения памятника Пушкина в Париже, в котором я также принимал участие. Проект этот относился еще ко времени столетней годовщины смерти Пушкина (т. е. к 1937 году). Инициатива сооружения этого памятника, по проекту скульптора Гурджана, исходила от издателя журнала «Иллюстрированная Россия» Б. А. Гордона, в декабре 1935 года. Когда он приехал ко мне в Большую Оперу, я с радостью

приветствовал его за эту инициативу, а также за подготовку общедоступного юбилейного издания полного собрания сочинений Пушкина и Альманаха «Пушкин и его эпоха». Тогда же я его познакомил с директором Оперы Жаком Руше и предложил создать параллельно русскому комитету по сооружению памятника, французский комитет, обещая ему привлечь моих французских друзей из Академии, Сената, Палаты и членов Правительства. Охотно мне дали свое согласие: Пьер Бенуа, Готро, Годар, де Монзи, Мутэ, Клод Фаррер, Эдуард Эррио и др.

В январе 1936 г. в кабинете Руше, сочувствовавшего нашей русской инициативе, состоялась дружеская встреча с некоторыми членами намечаемого французского комитета и представителями Парижского Муниципалитета.

Присутствовал также и Б. А. Гордон, которому я дал свое согласие войти в состав русского и французского комитетов по сооружению памятника. Письмо с приглашением от него я получил несколькими днями позже.

Однако, проект этот не удалось осуществить по причине противодействия советского посольства, стоявшего на той точке зрения, что сооружение памятника Пушкину не должно быть делом эмиграции.

В Париже есть русские памятники и церкви. Некоторые улицы и площади носят названия: Pierre le Grand, Neva, Moscou, Petrograd, Stalingrad, Cronstadt, Sébastopol, Pont d'Alexandre III. После второй мировой войны, по личной инициативе русских культурных людей был открыт небольшой памятник Льву Толстому. В 1964 году, мне удалось получить разрешение от французского Правительства и наименовать одну из площадей, прилегающих к Большой Парижской Опере, именем Дягилева. Официальное открытие этой площади состоялось 25 марта 1966 года.

Когда же будет воздвигнут памятник Пушкину?

Западноевропейская скульптура пока еще не создала свой образ Пушкина. Но один из самых передовых ее мастеров, наш соотечественник родом из Смоленска, принадлежащий к современной «парижской школе», Осип Цадкин (Zadkine), работает теперь над монументальной статуей Пушкина.

Как и свое произведение «Прометей», созданное несколько лет тому назад, так и рождающегося, пока неизвестного, его Пушкина, скульптор обещал посвятить мне.

Пришло время, когда правительство Советской России должно исправить свою ошибку 1937 года и получить в Париже — столице мира — место, где красовался бы памятник Пуш-

кину, по примеру уже воздвигнутого памятника другу Пушкина — Мицкевичу.

В 1965 году, бывший советский посол во Франции С. А. Виноградов был награжден Большим Крестом Почетного Легиона (La Grande Croix de la Légion d'Honneur). Этот факт позволяет считать, что Французское Правительство, Муниципалитет города Парижа и Министр Культуры не отклонили бы ходатайство советского посла во Франции.

Отдаваясь всей душой служению культу Пушкина, я всегда стремился содействовать различным формам проявления культурной жизни русских людей и организаций, будь это Русское Музыкальное Общество, Консерватория или Общество Охраны Русских Культурных Ценностей за границей, председателем которого я состою после смерти профессора академика Д. П. Рябушинского. От имени этого Общества, мной было адресовано письмо в редакцию газеты «Голос Родины» в 1964 г.

В этой газете, выходящей в Москве, был напечатан призыв к русской эмиграции редактора сборника «Литературное Наследство» И. С. Зильберштейна присылать на родину русские художественные ценности, всевозможные литературные материалы, архивы для их изучения, сохранения, напечатания.

В ответ на этот призыв, я отправил 10 сентября 1964 года из Хельсинки, где находился тогда, в редакцию газеты «Голос Родины» письмо, полный текст которого я привожу ниже. К сожалению, я не могу утверждать, что оно было опубликовано.

Многоуважаемый господин редактор,

Статью И. С. Зильберштейна я прочел с огромным интересом. Его научные труды по литературе мне знакомы. Они всегда глубоки по мысли и вносят новые и светлые лучи в Историю русской литературы. Его призыв к русской эмиграции с просьбой присылать на Родину русские художественные ценности, всевозможные литературные материалы, архивы для изучения, сохранения, напечатания безусловно заслуживают внимания и отклика.

Но для Вашего и его ознакомления я хочу сообщить Вам, как и Вашим читателям, что в Париже существует Общество Охраны Русских Культурных Ценностей, коего я состою председателем.

Общество это было основано в Париже в 1945 году профессором Рябушинским и существует без малого двадцать лет. Общество это уже имеет на своем попечении огромные материалы, которые представляют несомненную культурно-

историческую ценность. Имеется особый отдел — научный. Общество наше — из своих членов — выделило особый комитет, которому поручено издание «Золотой книги Русской эмиграции». Задачей Общества является также отмечать важнейшие проявления и события Русской культуры и Русской истории — общественными собраниями, выставками, докладами. Недавно еще Общество наше чествовало четырехсотлетие первой русской печатной (славянской) книги — Ивана Федорова, а в скором времени отметит 150 лет со дня рождения Лермонтова.

Пользуюсь случаем моей с Вами переписки, чтобы тут же поделиться с Вами моим пожеланием. Хотелось бы мне, чтобы в Москве был создан музей Русской эмиграции, а в Ленинграде театральный музей имени Дягилева, куда собирались бы все художественные, литературные и научные ценности Русской эмиграции, их духовные сокровища, их достижения, обогатившие мировую культуру, и все то, чем она была богата, прожив 50 лет за границей, все то, чем Родина наша может гордиться.

С искренним уважением,

Сергей Лифарь.

О создании Русского Зарубежного Музея в Москве мне пришлось говорить в Париже с Лермонтоведом Андрониковым в декабре 1964 г. и с писателем Ильей Эренбургом в начале 1965 года; а во время моего пребывания в Москве, в 1961 году, я познакомил с моей идеей И. С. Зильберштейна.

Они соглашались с моими художественными, культурными планами и обещали мне помочь своими советами в осуществлении моего проекта.

Мне кажется, в этом очерке, посвященном моей пушкиниане, моему собирательству пушкинских реликвий и моей издательской деятельности в области пушкинианы, не будет излишним коснуться вопроса о некоторых литературных трудах, посвященных нашему национальному поэту за границей.

К числу таких изданий относится книга Анри Труайа «Пушкин», на французском языке.

Его солидный труд о Пушкине вышел в 1953 году в Париже. Известно русское происхождение этого французского писателя, чувствующего и оценивающего величие Пушкина во всей полноте. Это, конечно, придавало особую ценность его исследованию. Анри Труайа не обманул ожидания читателей. Труд его, весьма обстоятельный и насыщенный документацией,

является ценным вкладом как в специально «пушкиноведческую» литературу, так и вообще в литературу мировую.

Можно отметить, что в этой биографии Пушкина есть много новых, до сих пор неизвестных писем, полученных автором, главным образом, из архива семьи Дантесов.

И еще большее значение труд этот приобретает потому, что автор его, Анри Труайа, в мае 1959 года был избран членом французской Академии, стал «бессмертным». Когда он был избран, я послал ему телеграмму: *Счастлив за земляка и за пушкиниста.*

Некоторыми местами его труда я был, признаться, удивлен. Удивлен был я прежде всего тем, что в своей книге Труайа не описал торжеств в Париже и во всем мире по случаю столетия смерти Пушкина в 1937 году. Не вспоминает он и о Пушкинской Выставке того года. А между тем в этих торжествах и в Комитете Выставки, являющейся частью этих торжеств, фигурировали имена двенадцати академиков во главе с Полем Валери.

С удовлетворением отмечу, что Труайа кончает свой труд, сравнивая Пушкина с Шекспиром и Гете; именно эти слова были написаны мною в предисловии к изданным мной в 1936 году «Письмам Пушкина к невесте».

***

В 1965 г. в Парижском Издательстве Seguers вышла в одном томе «Антология русской поэзии» (Anthologie de la poésie russe) под редакцией Эльзы Триоле. Издана книга тщательно и на каждой странице, параллельно оригинальному русскому тексту дается перевод на французский язык.

Несколько глав Пушкинского «Евгения Онегина» перевел французский писатель Луи Арагон. Перевод этот сделан блестяще и читателю передается музыкальный стих Пушкина.

***

Мне хочется закончить этот, далеко не полный обзор моей деятельности в области пушкиноведения и собирательства пушкинских реликвий, литературного архива и моей Русской библиотеки, выражением надежды, что она принесет какую-то пользу людям, изучающим во всей полноте жизнь и творчество

нашего великого поэта, подлинного создателя русской литературы, русского литературного языка, подлинного солнца поэзии. Мне хотелось бы еще раз сказать: «Пушкин не только солнце русской поэзии, Пушкин — солнце России».

В моей жизни и творческих исканиях, Пушкин всегда был и будет моей «путеводной звездой».

В моих литературных трудах и статьях, посвященных эстетике, театру, хореографии или балету и переведенных на многие иностранные языки, я всегда отмечаю огромное значение Пушкина. Этот «Пушкинский лейтмотив» читатель почувствует также и в моей книге воспоминаний: «Моя жизнь», вышедшей из печати в Издательстве Juillard, в Париже, в 1965 году, на французском языке и подготовляемой к изданию на русском и других языках.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

На родине

По пушкинским местам

НА РОДИНЕ

Без ложной скромности и к моему глубокому удовлетворению должен сказать, что я, русский артист, остающийся всегда русским и посвятившим свою жизнь русскому и французскому балетам.

Будучи руководителем балета Большой Парижской Оперы в течение 25 лет, мне удалось не только возродить французский балет, но и поставить его на новую высшую ступень всемирного значения.

В годы второй мировой войны моя общественная деятельность главным образом была направлена к спасению от разгрома немцами, временными оккупантами Франции, Парижской Оперы, — фрнцузского национального достояния, музея и библиотеки шведского магната Rolf de Maré, Русской Консерватории им. Рахманинова, русских балетных школ и, наконец, моей личной русской библиотеки и коллекций.

С окончанием войны, моя деятельность по собиранию пушкинских реликвий возобновилась и продолжается по сей день.

Эта деятельность, это увлечение воодушевлены мечтой передать некоторые драгоценные памятники, относящиеся к жизни и творчеству нашего великого поэта, в те учреждения, где они должны будут оставаться навсегда: в музеи и хранилища нашей Родины. Впервые я осуществил эту мечту в 1956 году. Произошло это при следующих обстоятельствах.

Как я уже писал, в моей коллекции пушкинских рукописей был автограф Пушкина предисловия к «Путешествию в Арзрум». В 1956 г. в Париже, в Сорбонне, состоялась выставка советской книги, и там я передал, находившемуся тогда в Париже, заместителю министра культуры СССР Михайлову и советскому послу С. А. Виноградову эту драгоценную рукопись для передачи от меня в дар Пушкинскому Дому в Ленинграде. Мой дар был отме-

чен многочисленными советскими изданиями, в том числе «Литературной Газетой», ежемесячным журналом «Нева», еженедельником «Огонек» и другими. Все они дали должную оценку моему жесту и указали, что рукопись пополнила сокровищницу пушкинских реликвий.

Но помимо этого, я получил и официальные благодарности. В письме, которое я получил от министра культуры СССР, говорилось:

Многоуважаемый господин Лифарь,

Министерство культуры СССР выражает Вам благодарность за драгоценный манускрипт нашего великого соотечественника А. С. Пушкина — предисловие к «Путешествию в Арзрум», которое Вы соблаговолили нам передать. Мы передали этот манускрипт в «Пушкинский Дом».

Желаем Вам здоровья и успеха

с уважением Н. Михайлов.

В свою очередь, директор Всесоюзного Музея А. С. Пушкина в Ленинграде, куда была передана подаренная мною рукопись, М. М. Калаушин написал мне нижеследующее письмо. Привожу его полностью, так как оно свидетельствует о большом интересе, проявленном руководителями Пушкинского Дома к моим коллекциям, и о том, что на моей Родине тщательно следят за моей работой по собиранию пушкинских реликвий. Вот это письмо:

Уважаемый господин Лифарь.

Ваш ценный подарок — рукопись предисловия к «Путешествию в Арзрум» Пушкинскому Дому Академии Наук СССР вызывает у нас чувство глубокой благодарности и побуждает обратиться к Вам с некоторыми вопросами о тех пушкинских материалах, которые были представлены на Пушкинской Выставке, устроенной Вами в 1937 году. К этому письму приложен список материалов, интересующих нас, и мы будем очень признательны, если Вы сообщите нам что-либо об их истории.

В нашем музее экспонируется известный Вам «Домик Нащокина», который несколько десятков лет (с 40-х годов XIX века по 1917 год) переходил из рук в руки и за эти годы значительно разрознился.

В каталоге Вашей выставки имеются воспроизведения некоторых предметов из «Домика Нащокина»: стола, сервированного для обеда, чашки с блюдцем (пл. XIII) и, по всей

вероятности, раскрашенной литографии (стр. 50), попавших, очевидно, в годы скитаний «домика» во Францию.

Сотрудники нашего музея изучают историю этого уникального памятника пушкинской эпохи, в связи с чем просим Вас сообщить все, что Вы найдете возможным, о предметах «Нащокинского Домика», находящихся во Франции. Мы были бы благодарны, если бы Вы поделились с нами какими-либо дополнительными сведениями о «Нащокинском Домике», не нашедшими отражения в Вашем каталоге.

Просим Вашего содействия и в деле установления связи с владельцами тех интереснейших материалов, которые были представлены на Вашей выставке. Нам бы хотелось обратиться через Ваше посредство к госпоже Поповой, владеющей предметами «Нащокинского Домика», и к другим владельцам материалов пушкинской эпохи.

В связи с изучением истории «Нащокинского Домика» и отношений А. С. Пушкина с П. В. Нащокиным, мы заинтересовались запиской Пушкина, которая, как предполагается, была адресована П. В. Нащокину. В 1936 году записка была сфотографирована вместе с вырезкой (к сожалению, ныне утраченной) из каталога французского антикварного магазина.

Не могли бы Вы, господин Лифарь, помочь нам в разыскании каких-либо сведений об этом каталоге. Может быть удастся с помощью этого каталога установить, откуда поступила записка в магазин и таким образом подтвердить то, что адресатом действительно явился П. В. Нащокин.

Заранее благодарим Вас, уважемый господин Лифарь, и посылаем Вам путеводители и некоторые изображения наших пушкинских музеев.

Директор Всесоюзного Музея А. С. Пушкина

М. М. Калаушин.

К сожалению, о записке я не смог получить в Париже просимых сведений. Но эта переписка положила начало моей связи с Пушкинским Домом, которая развивалась все больше и больше. В 1960 году я послал в Пушкинский Дом еще один подарок, менее ценный, чем рукопись Пушкина, но, тем не менее, живо заинтересовавший работников Дома. В ответ я получил такое письмо:

Многоуважаемый Сергей Михайлович.

Искренно благодарю Вас за присланную для Пушкинского музея фотокопию картины «Пушкин в Бахчисарайском двор-

це». У нас этот вариант неизвестен и потому Ваше сообщение о нем и снимок чрезвычайно интересны. Вы предполагаете, что некогда картина эта входила в собрание А. Ф. Онегина (мы считаем, что коллекция Онегина поступила к нам целиком); не М. Л. Гофман ли был ее владельцем после Онегина?

Извините, что так долго не отвечала Вам на Ваше письмо. Оно пришло еще в 20-х числах ноября, но тогда же я имела несчастье заболеть и только сейчас вернулась к работе. За это время на мое имя пришло сначала письмо от зам. редактора «Русских Новостей» с обещанием напечатать поправку к очерку В. Антонова в ближайшем номере газеты, а затем и самая газета № 809 от 2 декабря 1960 года (на это я тоже только сейчас отвечаю).

Я надеюсь, что и Вы получили — тоже еще в ноябре — мое письмо и книгу «Пушкин. Исследования и материалы», т. II. Мне остается еще раз выразить сожаление о том, что эта книга и письмо Пушкинского Дома не дошли до Вас раньше.

Искренно уважающая Вас

О. Соловьева.

P. S. — *Сердечный привет Вам от В. М. Малышева.*



Осуществление моей мечты — передать имеющиеся у меня некоторые пушкинские реликвии в пушкинские музеи на Родине связано с моими личными поездками в Советский Союз — одной не состоявшейся и одной состоявшейся. О не состоявшейся поездке моей на Родину следует рассказать подробнее.

Весной 1958 года стало известно, что балет Парижской Оперы должен будет дать ряд гастролей в Москве, а балет Московского Большого Театра в Парижской Опере. Эта поездка входила в план культурного обмена, предусмотренного франко-советским соглашением. Балет Московского Большого театра уже выступал в Лондонском театре Ковент Гарден в 1956 году, а балет театра имени Станиславского и Немировича-Данченко в Париже в театре Шатле, в том же году. Должен прибавить, что начало этому хореографическому обмену положил я, когда, еще в 1935 году, с разрешения французского правительства, пригласил советскую балерину Семенову выступать на сцене Национальной Оперы в Париже.

Предвидя возможную поездку балета — и, разумеется, вместе с ним мою, как руководителя этого балета, — в Москву, я послал 9 апреля следующую телеграмму министру культуры СССР М. Михайлову:

В день моего приезда в Москву был бы счастлив передать в Кремле некоторые драгоценные предметы русской культуры, в частности, относящиеся к Пушкину...

Единственным ответом на эту телеграмму был... отказ мне в визе 21 мая для поездки вместе с балетом. Произошло это при следующих обстоятельствах.

В качестве художественного руководителя и балетмейстера балетной труппы Оперы (пост, который я занимал с 1929 года), я должен был, несмотря на мой Нансеновский паспорт, т. е. паспорт апатрида, сопровождать балетную труппу Оперы в Москву. Из тринадцати балетов, которые я приготовил для этой поездки, одиннадцать были моими постановками. Москва не возражала против моей поездки и въездная виза в СССР была мне прислана. С своей стороны французское правительство выдало мне командировочное свидетельство. В Москве мое имя было напечатано на всех афишах, расклеенных по городу, в программах и рекламных брошюрах, но в искаженном виде: «Серж» вместо «Сергей». На мое имя была задержана комната в гостинице. Московские балетные круги с нетерпением ожидали наш приезд.

Увы! Мне не пришлось сопровождать балет Оперы в Москву...

Действительно, в последний момент советский посол во Франции С. А. Виноградов отказал мне в визе. Тот самый Виноградов, который так обнадеживал меня, так настаивал на необходимости моей поездки в Москву. Мораль и энтузиазм балетной труппы Оперы были поколеблены. Общественное мнение и печать обеих стран пытались выяснить загадочную причину этого неожиданного для меня отказа. Но загадка так и осталась неразрешенной... Этот конфликт вынудил меня подать в оставку, покинуть французскую Парижскую Оперу.

Не скрою, я испытывал чувство острой горечи от всего происшедшего: Родина моя бессердечно расправилась со славой своего «зарубежного» сына! Оскорбительным было для меня и отсутствие ответа на мою телеграмму с предложением передать советскому правительству мои некоторые пушкинские сокровища. Перечисляю здесь лишь самые главные из тех, которые я имел намерение передать Пушкинскому Музею:

1. Рукопись двух строф VI главы «Евгения Онегина».

2. Паспорт Пушкина («подорожная»), который был выдан при высылке поэта на юг России.

Приобрел я этот драгоценный документ совершенно случайно во время одной из моих прогулок по набережной Сены. Роясь в ларьке у одного букиниста, я наткнулся на этот пожелтевший листок бумаги и с замиранием сердца тотчас же понял, какую драгоценную находку посылает мне судьба. На пожелтевшем листке было написано:

По указу Его Величества Государя Императора Александра Павловича Самодержца Всероссийского и прочая, и прочая, и прочая. Показатель сего, Ведомства Государственной коллегии иностранных дел Коллежский Секретарь Александр Пушкин отправлен по надобностям службы к Главному Попечителю Колонистов Южного края России, г. Генерал-Лейтенанту Инзову, почему для свободного проезда сей пашпорт из оной Коллегии дан ему в Санкт Петербурге Мая 5 дня 1820 года..

Граф Нессельроде.

У сего Его Императорского Величества Государственной Коллегии иностранных дел печать.

Секретарь Яковлев.

№ 2295.

Не менее ценным и не менее интересным был третий документ, который я намеревался передать в Москве:

3. Разрешение, выданное Пушкину, на право работать в архиве министерства иностранных дел над документами по истории Петра Великого.

Как известно, Пушкин много работал над историей царствования Великого Преобразователя. Мой документ приобрел особый интерес в связи со сравнительно недавно (уже после революции) обнаруженной рукописью Пушкина, относящейся к этой работе. Привожу здесь полный текст этого разрешения, данного Пушкину в виде письма к нему, по-видимому, от заведующего архивом. Письмо это гласит:

№ 7. 19 Генваря 1832.
Его Благородию
А. С. Пушкину

Милостивый Государь

Александр Сергеевич,

Г-н Вице-Канцлер сообщает мне, что по всеподданнейшему докладу его о дозволении Вам пользоваться находящимися в архиве Министерства Иностранных дел материалами для сочинения Истории Императорра Петра Великого, Его Императорское Величества изъявил на сие Высочайшее соизволение с тем, что бы вообще чтением вверяемых Вам бумаг того времени и выписками из оных Вы занимались в самом Архиве и что бы из числа помянутых бумаг секретные были открываемы Вам по моему назначению.

Уведомляя Вас, Милостивый Государь, о сей Высочайшей Воле, я буду ожидать нашего первого личного свидания, во время которого мною будут даны точные указания о порядке пользования вами документами, относящимися ко времени Петра Великого, находящимися в Архиве Коллегии иностранных дел.

Примите и пр.

Кроме трех, указанных выше, драгоценных документов, я предполагал передать в дар Пушкинскому музею следующие реликвии поэта:

4. Печать Пушкина.
5. Портрет Пушкина (миниатюра) работы Тропинина.
6. Автограф романса Глинки.
7. Автограф Чайковского.

Должен прибавить, что коллекционеры во всем мире знали о моих сокровищах и не раз предлагали мне огромные суммы за некоторые из них. И на каждое предложение я отвечал отказом, ибо я считал и продолжаю считать, что единственным местом, где эти бесценные реликвии русского национального гениального поэта должны храниться — на его Родине.

ПО ПУШКИНСКИМ МЕСТАМ

Осуществить мою поездку на Родину мне удалось три года спустя. В конце апреля 1961 года я узнал, что виза, данная мне советскими властями на право посещения Советского Союза, еще действительна. И я решил отправиться туда в качестве туриста. Я хотел поклониться дорогим могилам родителей, своими глазами взглянуть на прогресс, осуществленный моей Родиной, почувствовать биение пульса ее новой жизни.

Путешествие по воздуху, в оба конца, которое должно было позволить мне побывать в четырех главных столицах СССР — Москве, Ленинграде, Киеве и Тбилиси — и которое должно было продолжаться месяц, стоило мне 1 500 долларов. Это не было групповой поездкой, я ехал туда в индивидуальном порядке. 26 апреля 1961 года, на советском самолете, я вылетел с аэродрома Бурже в Москву.

Путешествие по воздуху из Парижа в Москву, точнее говоря, с аэродрома в Бурже до московского аэропорта Шереметьево, продолжалось три с половиной часа. Надо ли говорить, какие вихри мыслей проносились у меня в мозгу, как сильно билось мое сердце за время этого полета. Мне казалось, что тридцать девять лет, проведенные мною в эмиграции, лишь какой-то сон, что они лишь перевернутые страницы какого-то романа. Мне казалось, что я никогда не покидал мою Родину — или покинул ее несколько часов назад. Время и пространство перестали существовать в моем сознании, перестали быть реальностью... Россия! Я снова в России!.. Я снова на Родине!.. Только тот, кто переживал нечто подобное, может по-настоящему понять мои чувства, которые охватили меня, когда я снова ступил на родную землю. Мне хотелось плакать, обнимать всех и каждого, глядя на окружающие меня русские лица. Я был горд тем, что возвращаюсь в Россию русским, горд тем, что остался сыном моей Родины, горд русской природой, русским народом, русской историей.

Я смотрел на окружающих меня людей и мне казалось странным, что все они — и таможенники, и военные в форме — говорили по-русски, как и все остальные вокруг меня. Я был приятно тронут услужливостью милой Светланы (переводчицы и гида Интуриста) и готовностью ее помочь мне во всех формальностях с багажом и паспортом. Сначала мы говорили с ней по-французски. Она рассказала мне, что до моего приезда была переводчицей корреспондента парижского журнала «Матч», и горько жаловалась мне на него: «Он совсем иначе говорил мне здесь про то, что видел, про нашу жизнь про наши достижения, чем то, что потом описал. Вот и вы тоже, я вам буду все показывать, а потом вы все это опишете по другому. Ведь вы опишете все так, как оно есть, не правда ли? Вы француз?

— Нет, я русский...

Удивлению Светланы не было границ, и скоро мы стали настоящими друзьями.

Общая обстановка аэровокзала, атмосфера, царящая в нем, были те же, что и повсюду в мире — в Европе, в Америке, на Востоке. Тут были представители разных народов, национальностей, рас, цветов. Слышался говор на разных языках, наречиях.

Осмотр в таможне был более чем поверхностный — у меня не открыли даже чемоданов. Таможенники, когда узнали, что я из Парижа, осаждали меня расспросами о жизни во Франции. Они были поражены, слыша мой русский язык. «Как хорошо вы говорите по-русски», — восклицали они, узнав, что я почти сорок лет прожил вдали от Родины.

Было бы слишком долго передавать все мои впечатления от этой новой встречи с Родиной.

Что можно сказать про современную Москву? О ней можно рассказывать без конца, да к тому же этих рассказов — и правдивых и, порой, несправедливо пристрастных — уже существует великое множество. Не могу все-же обойти молчанием московское метро, эти подлинные подземные дворцы, отделанные мрамором и скульптурой, которыми являются его станции. Побывал я на Красной площади, которая, кстати сказать, называется Красной совсем не потому, что на ней происходят демонстрации. Называется она Красной с самого своего основания, т. е. с XIV века, когда были построены красные стены Кремля. К этому красному цвету прибавились тоже преимущественно красная расцветка храма Василия Блаженного — этой подлинной жемчужины средневекового русского зодчества, а еще позже — красное кирпичное здание Исторического музея. Здесь же на Красной площади стоит, «вписанный» в общую ее архитектуру,

мавзолей Ленина красного гранита, в котором тогда рядом с Лениным лежал еще Сталин. К мавзолею тянулась длинная очередь по три человека в ряд, желавших посмотреть на саркофаг с набальзамированным телом основателя советского государства и другого вождя Советского Союза. Против мавзолея тянется скучнейший ГУМ, с его магазинами и лавками.

Я побывал, конечно, в Кремле, в его соборах, в его Грановитой Палате. Возвращаясь из Кремля, я проходил мимо памятника первопечатнику Ивану Федорову, стоящему на Театральном проезде, и, наконец, мимо классического здания Большого театра. На улице Горького, бывшей Тверской, я мог, наконец, поклониться моему кумиру — Пушкину. Раньше его памятник стоял на другой стороне площади, в конце Тверского бульвара против Страстного монастыря. Теперь этот монастырь снесен, на его месте разбит сквер и в этот сквер перенесен памятник Пушкину. Теперь он стоит среди цветника и к его подножию всегда кто-нибудь приносит букетик свежих цветов — Пушкина свято чтут в Москве. На постаменте памятника выгравированы строфы из стихотворения «Я памятник себе воздвиг нерукотворный».

Побывал я, также, и в Третьяковской галерее, где, наряду с шедеврами русской живописи, любовался иконами Андрея Рублева и его сподвижников, побывал в театральном музее Бахрушина. Наконец, мне пришлось присутствовать на первомайском Параде, видеть это веселье подлинного военного и народного праздника. На официальной трибуне, — на мавзолее Ленина, — издали, я мог видеть Хрущева, а рядом с ним Гагарина. Малиновский, военный министр обороны — принимал Парад.

Одной из незабываемых экскурсий из Москвы была поездка в Загорск, где находится Троице-Сергиева лавра, этот открытый православный (один из старейших и самых чтимых) русский монастырь. Там находится постоянная резиденция Патриарха русской православной Церкви. Там же помещается Синод, семинария... Все это меня изумляло и поражало.

Другая замечательная поездка была в подмосковное имение Архангельское, принадлежавшее некогда князьям Юсуповым. Там, в усадебном театре богатейших помещиков, когда-то подвизались крепостные актеры, крепостные танцовщицы. Там, в этом деревянном театре, когда-то родилась русская Терпсихора... Теперь эта великолепная усадьба, с ее дворцом и громадным парком, превращена в музей. Когда сторож при театре музея узнал от меня, что князь Феликс Юсупов жив и живет в Париже, просил меня передать князю самый низкий поклон и сердечный привет.

Побывал я и в Клину, в 100 километрах от Москвы, в доме,

где жил в последние годы своей жизни Чайковский, где им была написана Патетическая симфония, быть может самая трагическая из всех музыкальных произведений мира. Это было его настоящей лебединой песней. Он впервые дирижировал ею совсем незадолго до смерти, и эти знаменитые, замирающие звуки финального пианиссимо были словно прощанием великого композитора с жизнью. Некоторые историки утверждают, что Чайковский умер не от холеры, а отравился. Утверждал это, как я помню, и Дягилев, который присутствовал на похоронах Чайковского. Подъезжая к Дому-музею, я услышал звуки «Патетической»... музыка Чайковского уносилась вдаль. Моим гидом по музею был племянник Чайковского — Давыдов.

Не могу не остановиться тут несколько подробнее на моем отношении к Чайковскому, тесно связанному с моим отношением к Пушкину.

Эти два гения русского искусства вызывали всегда во мне неизмеримое чувство любви и восхищения. Через их лирику, их тематику я смог передать в моих балетных произведениях песнь о Любви.

Этот гимн Любви, где тело в пластическом вдохновении и экстазе, сливаясь с душой, находило новую форму геометрического построения моей хореографии и увлекало на путь новых движений. Так я создал пластическое выражение «Ромео», «Патетической Симфонии», «Пиковой Дамы», «Лебединого Озера», «Спящей Красавицы», «Щелкунчика». Они были постоянными спутниками моей танцевальной карьеры и позволили мне понять, воскресить, переработать и исполнить балет «Жизель».

Эту мою «мистичность» художественного понимания мне удалось привить во Франции, в Парижской Опере, и создать впервые французскую лирическую танцовщицу и научить танцовщика быть артистом.

Перед отъездом из Москвы мне удалось побывать на балетных спектаклях в Большом театре. Я видел там «Пламя Парижа» и «Лебединое Озеро» с Плисецкой. Могу повторить про эти спектакли лишь то, что я всегда говорил о советском балете: совершенство артистов балета, вся русская балетная школа — восхитительны, неподражаемы.

Я был также в Консерватории, перед зданием которой высится памятник Чайковскому. Консерватории я подарил письмо Чайковского, в котором он пишет о своем балете «Щелкунчик» и дает указания к его постановке.

Мой первый визит в Москве я сделал Министру Культуры госпоже Фурцевой, которая находилась в это время там. Но, по неизвестным мне причинам, принят ею не был.

Вторым этапом моего путешествия по Советскому Союзу был Киев... Киев! для меня это было событием, которого я не забуду никогда.

От Москвы Киев отделяет час полета с Внуковского аэродрома до киевского аэродрома Борисполь. Я не успел опомниться, не успел как следует прочувствовать, что я возвращаюсь в родной город, как самолет уже спустился перед аэровокзалом. Это было сравнительно небольшое деревянное здание, которое показалось мне несколько провинциальным, но при этом уютным. С аэродрома автомобиль «Чайка» понесла меня в город. Вот Дарница, вот Днепр, вот Турханов остров. Наконец, на холме, доминирующем над городом — Киево-Печерская Лавра. Уже издали я вижу статую князя Владимира с большим крестом, а рядом — Андреевская церковь. Все так знакомо, так опьяняет воспоминаниями. И все окружающее кажется мне еще более величественным, еще более прекрасным, чем раньше. Я смотрю на все и словно пью какой-то волшебный, чарующий напиток воспоминаний.

Столица Украины, Киев утопает в зелени. Повсюду видны сады, парки, цветники. Но при взгляде на них, невольно возникает представление о том, что пришлось пережить этому великолепному и многострадальному городу и как много понадобилось труда, энергии и горячей любви к своему Киеву со стороны Киевлян, чтобы возродить его из развалин, в которые он был превращен жестоким врагом в тяжелые годы войны 1941-1945 г.г., и восстановить его в прежнем величии, сделать его еще более прекрасным.

Эта боль скоро была успокоена в моем сердце другим чувством, чувством гордости за «мой» город. Прекрасный, величественный город вставал перед моими глазами. Я видел не мало мировых столиц, я, признаюсь, немного опасался увидеть в родном городе нечто совсем другое, и вот я видел своими глазами, великолепную столицу, я понимал, что мои опасения были напрасны, что «мой Киев» может поспорить с любой другой столицей по красоте и по величию.

Вот Липки, Крещатик — знаменитый Крещатик, который достоин быть артерией любого, самого прекрасного города на Западе. Вот Софийская площадь, вот Софийский собор и памятник Богдану Хмельницкому. Вот гостиница «Украина» на углу улицы Пушкина и бульвара Шевченко. Здесь мне была задержана комната. Но едва успев привести себя в порядок, я тотчас же вышел снова на улицу. Вот гимназия, в которой я учился, вот Университет, вот оперный театр. И потом... Потом Ирининская улица... Да, вот дом, из которого я вышел столько лет тому

назад, чтобы пойти по новому, столь тернистому пути, каким оказался мой путь... «Чайка» остановилась перед домом, я вошел в него...

Я потерял свою переводчицу из Интуриста, но здесь, в Киеве, она мне была не нужна. Автобус, метро, быстро доставили меня в знакомые места. Все здесь мне было дорого, но я спешил прежде всего побывать на Байковом кладбище, чтобы склониться перед могилами моей матери и моего отца.

Я вошел в ворота ограды. Беззаботно щебетали в ветвях птицы. Аромат лип и жасмина пьянил. Вот две дорогие могилы... Волнение охватило все мое существо, сердце сжалось. Стоявшая рядом со мной, мой друг, иностранка Лилан разрыдалась. Мы помолчали несколько минут. Я поцеловал землю. Потом, откуда-то издали послышались все усиливающиеся звуки небольшого оркестра: скрипки, трубы и барабана. Скрипка жалостно ныла, труба кричала, барабан заглушал пение птиц. Хоронили ребенка... Гроб несли открытым и было видно его личико желто-воскового оттенка, а рядом, «как земля» скорбное лицо матери...

Характерный разговор произошел у меня в гимназии, в которой я учился.

— Мы счастливы, что вы вернулись, — сказали мне там — мы вам простили все...

— Вы мне простили все! — воскликнул я. — Нет, это я вам простил то, что вы разрушили прошлое, что вы сожгли живьем мою бабку... Что касается славы, то ее не прощают...

Нет, нет, я вернулся на Родину не блудным сыном, который просит прощения, но тружеником, который завоевал мировое признание. Я возвратился, словно выполнив некий крестовый поход...

В Козинко я посетил дом-музей Тараса Шевченко, этого поэта, который выразил нашу национальную украинскую душу, необозримые просторы нашей родины, ее леса, ее поля, ее луга. Шевченко — современник Гоголя и Пушкина.

Я любовался в Киеве бывшим императорским дворцом и Андреевской церковью. Они были сооружены гениальным архитектором — обрусевшим итальянцем — Растрелли, создавшим ряд архитектурных ансамблей в Петербурге. Несравненный Софийский собор превращен тепер в музей. Здесь, когда я был мальчиком, я пел в хоре, здесь был даже служкой в алтаре. Здесь перед византийской мозаичной фреской Богоматери — Нерушимой стеной, зарождалось мое воображение...

Узнав о моем приезде в Киев, артисты, журналисты, просто любопытные наполнили вестибюль отеля. Все хотели меня видеть, говорить со мной, расспросить о жизни в Париже, о знаменитых русских балетах Дягилева, о Рахманинове, о Шаляпине, о Павловой. Все были поражены тем, что я читал им по-украински наизусть стихи Шевченки. Люди, которых я не знал, приносили мне вещи, принадлежавшие когда-то мне и моей семье и чудом уцелевшие от пронесшегося урагана революции и войны. Так я получил мои первые танцевальные туфли, в которых я начал танцевать у Брониславы Нижинской, в Киевской Опере, в 1921 году.

Каждый вечер за время моего пребывания в Киеве меня приглашали в театр, где я мог с восхищением посмотреть киевских танцовщиц и танцовщиков, послушать певцов и певиц. Директор Оперы Гонтар (зять Хрущева) сердечно просил меня остаться в Киеве подольше, чтобы сделать ему какую-нибудь балетную постановку. Увы, это было неосуществимо, надо было выезжать в Ленинград.

*
**

С особым волнением летел я в Ленинград, город Пушкина, который я узрел впервые. Город, где он жил, писал и где умер, сраженный беспощадной пулей противника.

Ленинград... Великолепная, грандиозная прежняя столица России С.-Петербург... Я, который побывал почти во всех странах мира, который фактически прожил всю свою жизнь в Париже и Венеции, я был ошеломлен, поражен величием Ленинграда, его стилем, царящей в нем атмосферой, одновременно мистической и надменной и которая накладывает на него столь характерную печать своеобразия и вместе с тем европеизма.

Вся столица — сплошной музей. Музей, в котором я хотел бы жить, мечтать и творить... Как прекрасна и величественна Нева в своем гранитном ложе. Над ней высится силуэт Петропавловской крепости, с другой стороны, ее Адмиралтейская игла, великолепное строение Зимнего дворца, ставшего теперь частью Эрмитажа. Повсюду прямые, широкие проспекты, множество дворцов... Вот грандиозный Исаакиевский собор... И Пушкин! Тень Пушкина витает повсюду... Пушкин — солнце России... Вот его последняя квартира на Мойке, где погасла его жизнь...

Вот памятник Петру на Сенатской площади... «Медный Всадник»! Невольно, глядя на него, в памяти возникают бессмертные строки:

И, озарен луною бледной,
Простерши руку в вышине,
За ним несется Всадник Медный
На звонко-скачущем коне.

Вот Академический театр оперы и балета имени Кирова (бывший Императорский Мариинский), а дальше — театральное училище, рассадник и колыбель всех русских танцовщиц и танцовщиков. Здесь, в здании на улице Росси (б. Театральной), учились Анна Павлова, Фокин, Нижинский, Трефилова, Кшесинская...

Нет, поистине нет в мире города более прекрасного — думал я, — любуясь на расстилавшуюся передо мной площадь перед Исаакиевским собором.

В Ленинграде передал я в дар Пушкинскому Дому одну из реликвий моего собрания. Я передал профессору Алексееву, принявшему меня во главе с сотрудниками, привезенную мною «Подорожную» Пушкина для поездки его на Юг России (о ней я писал выше).

С трепетом и волнением академики рассматривали драгоценный документ. Заочно мы все были уже знакомы. Меня провели в святое святых Пушкинского Дома, в бронированную комнату, где хранятся все бесценные рукописи великого поэта и всей русской литературы.

Теперь к этому сокровищу прибавилась еще одна реликвия — «Подорожная» — Пушкина, его «Пашпорт».

Советские газеты посвятили моему визиту в Пушкинский Дом специальные репортажи. Вот что писала «Литературная Газета» в номере от 24 июня 1961 года:

«Перед нами удивительный, имеющий почти полуторавековую историю документ, связанный с жизнью Александра Сергеевича Пушкина.

На плотном, слегка обесцвеченном временем, но хорошо сохранившемся листе написано (дальше приводится текст «Подорожной»).

Это оригинал «Подорожной» («пашпорт») № 2295, выданный А. С. Пушкину сто сорок пять лет назад. Он был найден и приобретен у одного из букинистов в Париже хореографом и пушкинистом С. Лифарем, который недавно в качестве туриста находился в Советском Союзе.

— Сорок лет я не был на Родине, — сказал нам Сергей Лифарь, — и вот теперь гостил в Киеве, повидал Москву, Ленинград... Всю свою жизнь я посвятил балету и литературе, точнее Пушкину... Долгие десятилетия я собираю рукописи, автографы, и личные вещи Пушкина, а также древне-русские рукописные книги и другие материалы, связанные с историей русской литературы и культуры.

— И много уников вам удалось разыскать и собрать?

— Да, много. Мне кажется, я собрал одну из интереснейших в Европе русских библиотек, состоящих из творений XVI—XX веков. В ее составе — первая русская печатная книга Ивана Федорова 1564 года, азбука, по которой учился Петр I, и т. д. У меня также хранятся 10 писем Пушкина к невесте Н. Н. Гончаровой, письмо к писателю Е. Ф. Розену, автографы (например автограф двух строф из шестой главы «Евгения Онегина»), печать Пушкина с его родовым гербом, его расшитый бисером кошелек, «Подорожная», которую я только что подарил Пушкинскому Дому в Ленинграде. Кроме того, у меня хранятся рукописи Дельвига, Жуковского, Глинки, Тургенева, первые издания сочинений Пушкина, Лермонтова, Державина, Карамзина, Дмитрова, Крылова и других русских писателей, экземпляр первого издания «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева. В моей коллекции находятся рисунок Пушкина-лицеиста (дворник с лопатой и солдат с метлой)*), миниатюрный портрет Пушкина работы Тропинина, а также портреты родителей Наталии Гончаровой и множество других картин, акварелей, рисунков, гравюр известных русских художников.

Рассказывая о своей коллекции, в составе которой — многие сокровища отечественной литературы и искусства, С. Лифарь назвал далее письма Толстого, Тургенева, множество других уникальных документов, которые, как он заметил, принадлежат русской культуре, русскому народу.

«Наша длительная беседа — писал далее сотрудник «Литературной Газеты» Н. Мар, — начавшаяся в Ленинграде, в гостинице «Астория», была продолжена затем в Пушкинском Доме, где гость познакомился с хранимыми здесь сокровищами.

С. Лифарь рассказал здесь о поисках «дневника А. С. Пушкина», который якобы видели в 1938 году...»

Действительно, во время беседы моей в Пушкинском Доме с его директором академиком М. П. Алексеевым, академиком Измайловым и другими сотрудниками, я рассказал им, что знал

---

*) Ошибочно присвоено журналистом мне, так как рисунок принадлежит Б. Е. Поповой.

об этих поисках «дневника Пушкина», в которых я сам принимал участие. Напомню здесь в общих чертах историю этих поисков, она очень любопытна.

Как известно, тот дневник Пушкина, который печатался в полных собраниях сочинений поэта, охватывает период с 1833 по 1835 год. Рукопись этого дневника принадлежала сыну Пушкина, Александру Александровичу, который ее ревниво оберегал и оставил у себя даже тогда, когда передал другие, имеющиеся у него рукописи отца в Румянцевский музей в Москве в 1880 году. Александр Александрович Пушкин умер в глубокой старости в чине генерала от кавалерии в 1914 году (в первый день войны). После его смерти рукопись дневника перешла к сестре Александра Александровича, дочери Пушкина, Марии Александровне (по мужу Гартунг), а после ее смерти (она скончалась тоже в глубокой старости в 1919 году) дневник перешел к внуку Пушкина, сыну Александра Александровича, Григорию Александровичу, бывшему тогда командиром Красной Армии. Он хранил его у себя недолго и в том же 1919 году передал драгоценный манускрипт Румянцевскому музею.

Эта рукопись дневника представляет собою тетрадь большого формата в переплете со стальным замком: тогда такие замочки на альбомах и дневниках были в моде; о дневнике Онегина Пушкин писал: «В сафьяне, по краям окован, замкнут серебряным замком...». Но вот, на внутренней стороне переплета было написано: «№ 2».

Эта пометка дала повод пушкинистам сделать весьма правильный логический вывод: если существует № 2, то естественно должен существовать и № 1. Мало того, так как дневник № 2 оканчивается 1935 годом, то весьма логично было бы предположить, что существует и № 3, охватывающий период с 1835 года до рокового 1837 — года смерти поэта.

Не буду останавливаться здесь на перечислении поисков и исследований пушкинистов по поводу этих потерянных частей дневников Пушкина. Скажу только, что все поиски до сих пор были бесплодны и среди пушкинистов образовалось даже два течения: одно считало существование дневников несомненным, другое находило, что дневников этих вообще в природе не существовало.

Так или иначе, загадка продолжала волновать пушкинистов. Легко представить себе, какую сенсацию вызвала фраза известного пушкиниста М. Л. Гофмана, жившего в то время в Париже, в его статье под заголовком «Еще о смерти Пушкина» в парижском историко-литературном сборнике «На чужой стороне», в 1925 году. В статье этой М. Л. Гофман писал:

«В 1937 году (т. е. через сто лет после смерти Пушкина) будет опубликован полностью неизданный еще большой дневник Пушкина (в 1100 страниц). Несомненно, он прольет свет на историю дуэли и драму жизни Пушкина...» и т. д.

О том, что дало повод М. Л. Гофману делать такое сенсационное сообщение, он рассказывал мне во всех подробностях.

В конце 1922 года советский торгпред в Париже М. И. Скобелев получил из Константинополя от некой Елены Александровны Пушкиной, называвшей себя внучкой поэта, (она действительно была дочерью сына поэта Александра Александровича) письмо, в котором предлагала приобрести у нее гербовую печать Пушкина и некоторые другие реликвии деда. М. И. Скобелев передал это письмо М. Л. Гофману, который незадолго до того приехал в Париж в качестве официального представителя Российской Академии Наук, командированного для переговоров о приобретении пушкинского музея у известного коллекционера А. Ф. Онегина. М. Л. Гофман вступил в переписку с Е. А. Пушкиной, которая в то время уже вышла замуж и стала по мужу Розенмайер. В одном из своих писем она перечисляла имеющиеся у нее реликвии и, между прочим, писала:

«Что касается до имеющегося неизвестного дневника (1100 страниц) и других рукописей деда, то я не имею права продавать их, так как, согласно воле моего покойного отца, дневник деда не может быть напечатан раньше, чем через сто лет после его смерти, то есть раньше 1937 года».

М. Л. Гофман, как пушкинист, знал, разумеется, о поисках неизданной части дневника и мог по достоинству оценить сенсационность этого открытия. После целого ряда перипетий, ему удалось получить необходимые средства на поездку в Константинополь (от А. Ф. Онегина, пообещав ему передать в его музей найденный дневник) и он отправился в далекую Турцию с целью убедить Е. А. Пушкину-Розенмайер передать ему драгоценный манускрипт.

Увы, поездка Гофмана в Константинополь окончилась полной неудачей. Вместо самой внучки Пушкина Гофману пришлось говорить с ее мужем, офицером Розенмайером, который ему заявил:

— С неизданным дневником произошло недоразумение. Елена Александровна никогда не собиралась и не собирается передать дневник своего деда.

Это противоречило письму Е. А. Пушкиной-Розенмайер к Гофману, в котором она, после длительной переписки, наконец, соглашалась передать дневник и просила «поторопиться с приездом в Константинополь, так как они собирались уезжать в

Африку» и она хотела передать дневник Гофману, как представителю Пушкинского Дома.

Никакие уговоры и доводы не действовали, муж внучки Пушкина был непоколебим. Когда же Гофман заметил ему, что неосторожно вести такую драгоценность с собой в Африку, Розенмайер заявил:

— Не беспокойтесь. Дневник находится в очень надежном безопасном месте.

На этом фиаско и закончились поиски Гофмана. Возобновил эти поиски, увы, тоже безуспешно, я.

В 1935 году я был поглощен организацией Пушкинской выставки, которая должна была состояться в Париже в столетнюю годовщину смерти поэта, и собирал повсюду экспонаты. От Гофмана я много раз слышал рассказ о его посещении супругов Розенмайер в Константинополе, вместе с ним мы делали разные догадки, где мог находиться этот драгоценный памятник пушкинской жизни и творчества. И, конечно, в поисках экспонатов для моей выставки, я решил возобновить и поиски неизданного дневника Пушкина.

Следует сказать, что незадолго до этого я виделся с Е. А. Пушкиной-Розенмайер в Ницце, куда она приехала по возвращении из Африки. У нее оказалось несколько реликвий деда, в том числе его печатка, гусиное перо и еще что-то. Все это я у нее купил. Разумеется я ее спросил о дневнике Пушкина: история с неудачей Гофмана мне была, повторяю, хорошо известна с его же слов. Е. А. Пушкина-Розенмайер сказала мне, что дневника этого у нее нет, но что она может мне указать лицо, которому судьба этого драгоценного документа известна. Лицо это, по ее словам, проживало в Константинополе. Я послал специального человека в Константинополь, который разыскал там указанное Еленой Александровной лицо. Но дневника у него тоже не оказалось. По словам этого лица, сведения о дневнике можно было получить... в Гельсингфорсе.

Я послал моего эмиссара и туда. Тут у меня промелькнул луч надежды. Мой посланец, вернувшись, сказал мне, что дневник, действительно, находится в Гельсингфорсе, но что владелец его запрашивает за него какую то астрономическую сумму. У меня в тот момент таких денег не было. Я бросился отыскивать их, но, когда — через некоторое время — мне эти средства были обещаны, мне было отвечено, что драгоценный документ ушел в какие-то другие руки...

Признаться сказать, я склоняюсь к мысли, что вся эта история с гельсингфорским следом была выдумкой. Кто-то меня, по-видимому, обманывал. Кто? Мой ли посланец, таинственные

лица в Константинополе, сама ли Е. А. Пушкина-Розенмайер — или все они вместе? Так или иначе, факт остается фактом: никакого дневника обнаружить не удалось. Несомненно, что какой-то элемент фантазии Е. А. Пушкиной-Розенмайер в этом деле был. Она приходила ко мне потом в Париже и предлагала приобрести яко бы хранящийся у ней халат, чернильницу, гусиное перо. Производила она на меня впечатление женщины неуравновешенной.

Умерла она в Ницце 14 августа 1943 года от рака, умерла в большой нужде. Это были тяжкие месяцы войны и оккупации, и смерть внучки Пушкина прошла никем не отмеченной.

Должен указать здесь на чрезвычайно любопытную гипотезу, высказанную советским пушкинистом И. Файнбергом насчет местонахождения дневника, гипотезу, к которой я имею возможность дать некоторое дополнительное свидетельство. Согласно этой гипотезе, дневник Пушкина находится в Англии у английских потомков поэта.

В 1956 году, в лондонском театре Ковент Гарден, на гастролях Большого театра, когда Уланова танцевала впервые в Лондоне в балете «Ромео и Джульетта», в антракте ко мне быстро подошла элегантная дама. Это была лэди Мильдфорхевен, дочь лэди Торби. Обращаясь ко мне, она сказала по-французски:

— Лифарь, я знаю, что вы купили у французского правительства письма Пушкина. Ну так вот, я хочу, чтобы вы продали их обратно мне.

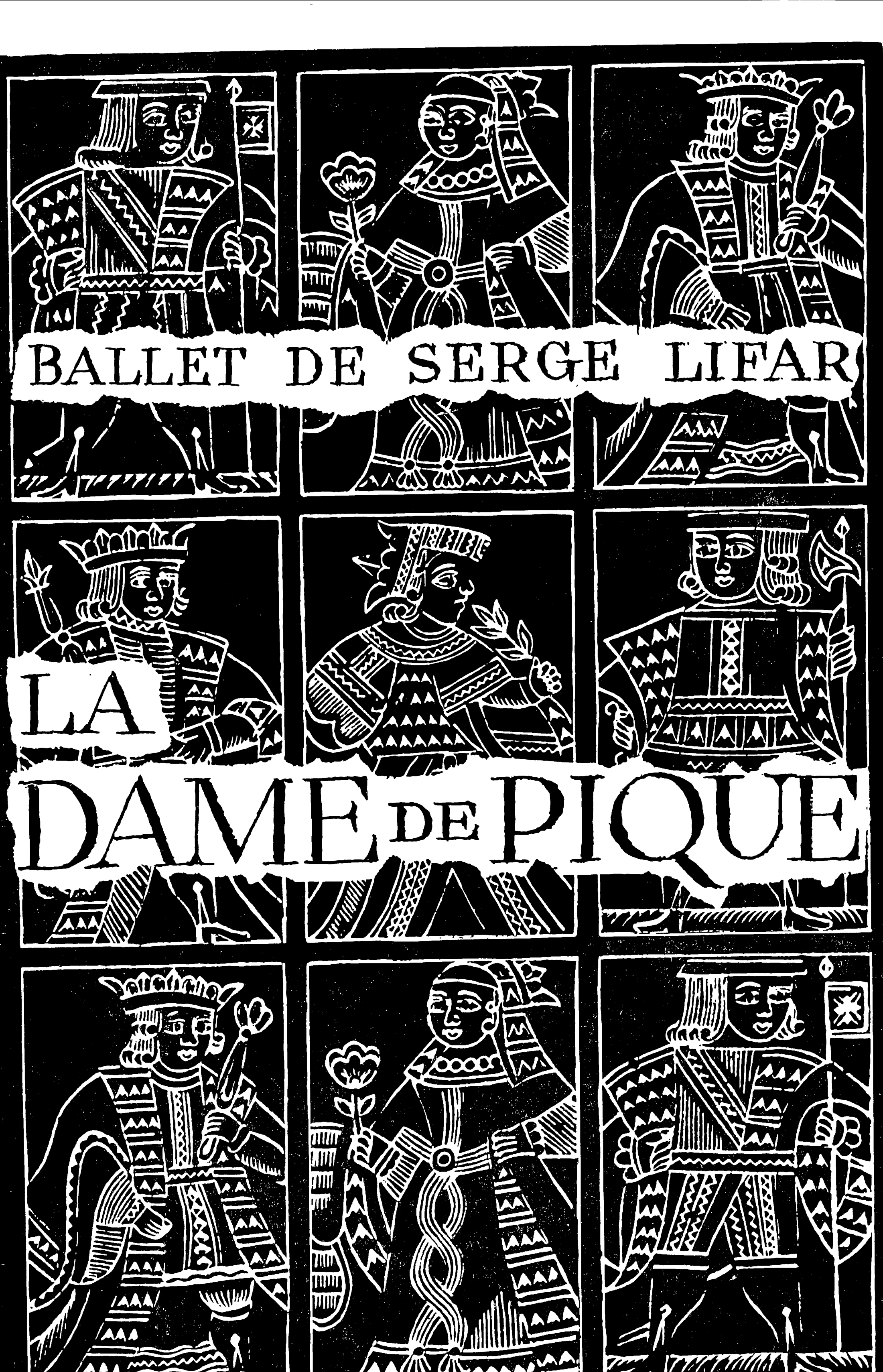
Я ответил ей, что эти сокровища принадлежат России, а не семье, и на этом наш разговор прекратился.

Дочь графини Торби, Надежда Михайловна, правнучка Пушкина, приходится по мужу теткой принцу Филиппу Эдинбургскому — супругу английской Королевы Елизаветы.

Так создалось родство великого русского национального поэта с английским королевским домом.

Быть может гипотеза о принадлежности дневника именно этой ветви потомков Пушкина имеет некоторое основание. Действительно, погруженные в другой мир, воспитанные в других интересах, эти потомки, возможно, даже не отдают себе отчета в том, что такое Пушкин для русской культуры. Дневник великого поэта для них, быть может, не больше, как семейная реликвия, семейный документ, который «ни кого не касается», и который они не желают предать гласности, так как они слышали от матери, что его не следует показывать «никому из посторонних».

Обложка программы
спектаклей балета "Пиковая Дама", 1960 г.


BALLET DE SERGE LIFAR
LA
DAME DE PIQUE

„Mon nouveau Ballet"
„La Dame de Pique"

C'est l'Opéra „la Dame de Pique" que je métamorphose en Ballet.
L'oeuvre theatrale de Pouchkine et de Tchaïkovsky trouve pour la première fois la forme plastique, et l'action dramatique et psychologique réagit par le Jeux des Pas et des Lignes.

A côté des personnages principaux de la Pièce, qui sont réels, j'ai imaginé et créé trois nouveaux rôles: ce sont les trois cartes, qui envahissent la pensée du Heros: Hermann.

Elle seront réelles et concrètes, mais également irréelles, car Elle symbolisent l'Idée Fixe du Héros. Elle sont son obsession.

Le figuratif et l'abstrait se confondent, naturel et surnaturel se mélangent.

La Danse académique, neo-classique, caractère populaire et allegorique, font le Vocabulaire chorégraphique de ce Ballet à côté de l'inévitable Jeu réel qui évoque une Epoque, comme le déroulement descriptif de la Pièce - la stylise et la réalise.

La Dame de Pique est un Ballet certe, mais en même temps - Le Theatre Absolu. Car ici, tous les éléments artistiques: musique, chorégraphie, decors, chant, paroles - s'unissent et se confondent.

Ils réagissent en Directe et provoquent une Métamorphose de l'Art.

Serge Lifar

Описание С. Лифаря идеи его балета «Пиковая Дама».
Monte-Carlo, 1960. Lausanne, 1960. Paris, 1961.

МОЙ НОВЫЙ БАЛЕТ «ПИКОВАЯ ДАМА»

Оперу «Пиковая Дама» я преобразовал в балет.

Театральное произведение Пушкина — Чайковского приобретает впервые пластическую форму: драматическое действие представлено игрой фигур и линий в движении.

Наряду с главными реальными действующими лицами этого произведения я выдумал и создал три новых роли: это три карты, поглощающие мысль героя — Германа.

Они представлены реальными, воплощенными, хотя в то же время они неральны, так как символизируют навязчивую идею героя. Это его одержимость.

Изобразительное и абстрактное смешиваются, естественное и сверхъестественное переплетаются.

Академический, неоклассический, характерный, народный и аллегорический танцы составляют хореографический «словарь» этого балета рядом с неизбежной реальной игрой, которая воскрешает эпоху, а описательное развитие действия пьесы ее стилизует и уточняет.

«Пиковая Дама» есть, конечно, балет, но в то же время это Абсолютный Театр, так как в нем все виды искусства —музыка, хореография, декорации, пение, слова сливаются и объединяются.

Их непосредственное действие ведет к метаморфозе искусства.

Сергей ЛИФАРЬ.

Если это действительно так, то дело настойчивых искателей и исследователей переубедить этих наследников Пушкина, что никто из русских людей не является «посторонним» для великой памяти их деда, что его наследие является достоянием всего культурного человечества.

⁂

Чтобы закончить рассказ о моей поездке на Родину и, в частности, в Ленинград, скажу, что я, разумеется, побывал в Эрмитаже, этом мировом хранилище шедевров живописи великих мастеров от гигантов Возрождения до Голландцев, Испанцев, Французов. В Эрмитаже я восхищался и Пушкинским отделом, где 12 зал отведены Пушкину и его эпохе. В Русском Музее — русская живопись, а несколько зал в верхнем этаже отведены произведениям Пикассо, Матисса и др. Съездил я, конечно, в город Пушкин — так теперь называется Царское Село, где учился в лицее Пушкин, — побывал в этом лицее, с благоговением смотрел на комнатку, где лицеист Пушкин создавал свои первые шедевры, где он написал свое стихотворение «Воспоминания о Царском Селе», прочитанное им на лицейском акте, когда «Старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил...». Потом в Ленинграде я был в Кировском (бывш. Мариинском) театре на балете «Лебединое Озеро», в другом театре, бывшем Михайловском, я видел «Петрушку» Стравинского. Побывал я и в театральном училище. Все, что явилось славой русского балета, вышло из стен этого рассадника балетного искусства.

В школе я встретился с балетмейстером Лопуховым, жизнь которого посвящена служению хореографического искусства и воспитанию новых поколений танцовщиц и танцовщиков.

Благодаря таланту и преданности своему любимому искусству, он один из тех немногих, оставшихся в России после Революции мастеров балета, которые сумели передать современному Советскому балету основы академического танца и традиции Императорского Балета.

Прекрасно осведомленный о развитии балета во всем мире, Лопухов с интересом расспрашивал меня о моих постановках «Патетической Симфонии», «Ромео и Джульетты», «Икара» и других моих произведениях. Взволновал его мой рассказ о постановке балета «Пиковой Дамы» по Пушкину, на муз. Чайковского, в декорациях Ю. Анненкова, премьера которого состоялась в Опере в Монте-Карло 18 ноября 1960 года. Роль Германа исполнял талантливый русский танцовщик Юлий Альгаров.

Мы с увлечением говорили о Павловой, Карсавиной, Егоровой, Трефиловой, Преображенской.

При посещении Ленинградской Оперы мне не пришлось побывать в артистической уборной Анны Павловой. На ее месте установлен теперь... лифт.

***

Последним этапом моей поездки в Советский Союз было посещение Тбилиси, столицы Грузии. Там я был встречен с особой теплотой — гостеприимные грузины всячески выражали мне свою благодарность за поставленный мной балет «Шота Руставели» на тему грузинской романтической поэмы XII века «Рыцарь в барсовой шкуре» в опере в Монте-Карло, в 1946 г.

Мне было также присвоено звание почетного грузина, звание которое когда-то получил Н. Н. Евреинов. С этим большим мастером театра мне пришлось совместно работать с 1943 по 1946 г., когда он разработал либретто балета «Шота Руставели».

Там, в Тбилиси, я был рад встретить грузин, специально приехавших из России в Монте-Карло, чтобы присутствовать на первом триумфальном представлении балета «Шота Руставели» 5 мая 1946 г.

Они не скрывали чувства досады, которое они испытывают до сих пор, не увидев моего «Шоту Руставели» на сцене Московского и Тифлисского театров.

План поездки труппы «Монте-Карловского Балета» в Советскую Россию начал подготовляться сразу же после премьеры в Монте-Карло. Советский посол во Франции Богомолов стремился к тому, чтобы перед тем, как балетная труппа уедет в турне по Советской России, «Шота Руставели» был показан в Париже в Палэ де Шайо под официальным покровительством (патронажем) советского посла. Спектакль был объявлен на 19 сентября, т. е. к открытию Парижского театрального сезона. Находившийся в это время на первой сессии О.О.Н. в Париже, В. Молотов всячески содействовал этому плану и лично получил полное одобрение Сталина.

Началась лихорадочная работа по подготовке спектаклей, несмотря на то, что после Монте-Карло труппа балета уезжала на гастроли в Италию, Швейцарию и Англию.

В Лондоне окончательно был разрешен вопрос о нашей поездке в Советскую Россию, после спектаклей в Париже в Палэ де Шайо.

После отдыха, в конце августа, труппа снова собралась в Париже и начались репетиции. Но вдруг, в первых числах сентября, советский посол от имени Сталина передал мне обязательное условие: взять советский паспорт. Этого условия я принять не мог, так как меня интересовала, в первую очередь, художественная сторона всего предприятия, а не политическая. Тогда, Сталин приказал аннулировать спектакли «Шота Руставели» и поездку в Советскую Россию. Создалось катастрофическое положение труппы балета Монте-Карло, которую пришлось распустить. С директором-администратором балета Е. Ю. Грюнбергом, мучительно переживавшим «разгром», случился удар, от которого он долго не мог оправиться.

15 сентября Сталин неожиданно отменил свое предыдущее распоряжение и уполномочил посла Богомолова встретить французского министра Андрэ Ле Трокер, с которым он должен был изучить меры восстановления плана подготовки спектаклей «Шота Руставели».

Встреча посла с министром состоялась, но было уже поздно. Труппа была распущена.

Я привез в Тбилиси, в подарок музею Шота Руставели, несколько очень ценных литературных, музыкальных и художественных документов, относящихся к этой постановке. Там, в оперном театре, я присутствовал на спектакле и восхищался балетом «Отелло», главную роль которого исполнял Чабукиани. Музыкальная партитура балета, написанная грузинским композитором Мачиавари, произвела на меня глубокое впечатление.

***

Мою поездку на Родину я переживал с трепетным волнением, к которому примешивалось ощущение комплекса «секретных микрофонов». Повсюду мне мерещились микрофоны и это чувство действовало на мою психику и настроение и мешало ощущать более полно чувство радости пребывания на Родине.

Моей Родиной и ее русской культурой я по праву горжусь и счастлив, что мне удалось сосредоточить в моей Парижской русской библиотеке и собраниях автографы и издания, относящиеся к XVI, XVII, XVIII, XIX и XX векам. Особое место занимают первые издания книг Ивана Федорова (1564—1565), манускрипты Пушкина, Карамзина, Жуковского, Крылова, Лермонтова, Тургенева, Вяземского и др.

Бережно храню также автографы и манускрипты русских зарубежных писателей и поэтов XX века — Алданова, Андреева,

Бальмонта, Бунина, Мережковского, Гиппиус, Ремизова, Плещеева и др.

В музыкальный отдел собраний входят рукописные подлинники партитур Глинки, Даргомыжского, Чайковского, Римского-Корсакова, Стравинского, Прокофьева и др.

Я надеюсь, что в недалеком будущем, все эти сокровища станут украшением моего «Зарубежного Литературного Музея» имени Пушкина в моем родном Киеве или Ленинграде...

Как мне пришлось убедиться во время моего пребывания в Советской России, изучение творчества Пушкина продолжается и стоит на исключительной высоте.

Но когда за границей, устами одного из самых ярких представителей современной русской поэзии сказаны слова о значении Пушкина, — они прозвучали «тютчевским» признанием в любви и глубоко запали в сердца и сознание западно-европейских масс.

25 февраля 1963 г. в Palais de Chaillot, в Париже, выступал молодой русский поэт, Евгений Евтушенко.

Это был триумфальный вечер-реситаль поэта, читавшего свои произведения перед новой, неизвестной ему многотысячной аудиторией, покоренной его могучим талантом поэта и актера.

Из зала, по микрофону, я задал ему вопрос:

— Как велико значение Пушкина в Советской России, и как его там воспринимают?

— У нас, в Советском Союзе, мы горячо любим и свято чтим Пушкина. По Пушкину мы учимся понимать жизнь, — ответил Евтушенко.

*
* *

Пушкин был и навсегда останется моей радостью, солнечным лучем в моей жизни.

Как теплота материнской ласки, он дорог и близок моему сердцу. Он согревал меня, утоляя мою духовную жажду...

Сергей Лифарь.

Того же автора: (на русском языке):

Пушкин — *Путешествие в Арзрум.*
Издание и вступительная статья С. Лифаря. Париж, 1934.

С. Лифарь — *Страдные годы.* Париж, 1935.

Письма Пушкина к Н. Н. Гончаровой.
Издание и вступительная статья С. Лифаря. Париж, 1936.

Пушкин — *Евгений Онегин.*
Издание и вступительная статья С. Лифаря. Париж, 1937.

С. Лифарь — *Третий праздник Пушкина.* Париж, 1937.

С. Лифарь — *Танец.* Основные течения академического танца. Париж, 1937.

С. Лифарь — *Мой путь к хоретворчеству.* Париж, 1938.

С. Лифарь — *Дягилев.* Париж, 1939.

С. Лифарь — *История Русского Балета.* Париж, 1945.

С. Лифарь — *Влияние русской культуры на мировую.* Париж, 1958.

С. Лифарь — *Моя жизнь* (готовится к печати).

Газетные и журнальные статьи (с 1928 по 1966 г.).

СОДЕРЖАНИЕ

ACHEVÉ D'IMPRIMER
SUR LES PRESSES
DE L'IMPRIMERIE
BÉRESNIAK PARIS
LE 10 MAI 1966

Склад издания: "Дом Книги"
Maison du Livre Etranger. 9, rue de l'Eperon
Paris-VIe